



НИКОЛАЙ  
ЯНЬКОВ

# ЗАКОН ПРЕДКОВ

НИКОЛАЙ ЯНЬКОВ

НИКОЛАЙ  
ЯНЬКОВ

# ЗАКОН ПРЕДКОВ





НОВИКИ-СОВРЕМЕННОИКА

---

Николай Яньков  
Закон  
предков

Рассказы

«Современник»  
Москва  
1979

**Яньков Н. Д.**

Я67      **Закон предков: Рассказы/Предисл. Е. Куренного — М.: Современник, 1979.— 208 с. (Новинки «Современника»).**

Сборник рассказов молодого читинского писателя Николая Янькова интересно, полно и своеобразно раскрывает мир забайкальской тайги в тот момент, когда еще повсюду — видимые признаки первозданной цельности, но уже проступают черты нового, черты перемен.

Я  $\frac{70302-203}{M106(03)-79}$  74—79 4702010200

**ББК84.Р7  
Р2**

В то августовское утро на своей скромной и верной «Волыни», которая помогала ему добираться во многие замечательные, неповторимые уголки Забайкалья, больше видеть и слышать, глубже познавать сибирский край, он ехал в Даурский хребет. Ехал к заветной тихой поляне, заросшей буйным разнотравьем, чтобы сфотографировать на цветную пленку несколько редких целебных растений, найденных накануне, в грибном походе, с женой Любой, опытной травницей: материалы о таких растениях — для будущей книги — Николай Яньков собирал, накапливал много лет. Они поехали на ту поляну вместе — порадоваться таежному диву. И не доехали. Не порадовались. Трагический и нелепый случай — столкновение на лесной дороге — стоил Николаю жизни... Как раз тогда, летом 1978 года, рукопись его рассказов была принята издательством «Современник».

Без него, уже как память о нем, теперь откроют эту книгу близкие, друзья-товарищи Николая Дмитриевича и тысячи благодарных читателей. Не сомневаюсь — именно так, с доверием и благодарностью, встретят читатели «Закон предков», потому что книга эта — умная, искренняя и человеческая, она пронизана беспокойной, страстной, ищущей мыслью, согрета горячим и щедрым, открытым добру и всегда незащищенным сердцем.

...Хорошо помню, как он начинал. В те годы я работал в редакции областной газеты «Забайкальский рабочий», и Николай присылал нам из Петровск-Забайкальского района, где жил тогда, свои первые очерки. Были они об интересных, самобытных людях, о встречах на таежных тропах, о своеобразных забайкальских реках и озерах, зверях, птицах и рыбах, редкой красоты и особого величия кедровых лесах. Чтобы рассказать об этом и для себя, и для читателя открыть новое, неизведанное, постигнуть заботы, тревоги и надежды, которыми живут сегодня сибиряки, он забирался в даль-

ние деревушки, в старые прокопченные зимовья, вместе с бывалыми зверовщиками и соболятниками исхаживал не каждому доступные кряжи, пади и мари, пешком или в седле, верхом на терпеливой и выносливой лошаденке, преодолевал сотни километров, поднимаясь на высокие перевалы, суровые становики, на подгольцовые обширные нагорья, откуда сбегает ключи и реки, питающие студеной Байкал. Он пристально присматривался к тайге и человеку среди тайги, и уже первые его очерки отличались достоверностью и обстоятельностью, серьезным отношением автора к предмету изображения, хорошим чувством слова, они были проникнуты сдержанным лиризмом, непоказной любовью к сибирской природе, к человеку, связавшему свою судьбу с этим краем.

Одна из поездок принесла ему счастливую, редчайшую удачу: в маленьком, неприметном селении Красночикойского района в заброшенной буддистской молельне — ее доверчиво открыл перед гостем старик-бурят — Николай обнаружил уникальнейший памятник древней тибетской истории, философии, этики и этнографии, педагогики и медицины — десятки объемистых, заключенных в крепкие доски и обернутых разноцветным шелком рукописных томов «Ганджура», который всего лишь в нескольких, буквально единичных комплектах дошел до наших дней. Публикации Н. Янькова об этом в популярном журнале «Вокруг света», проиллюстрированные цветными авторскими фотографиями, имели большой и вполне заслуженный резонанс, ими заинтересовались не только советские, но и зарубежные востоковеды.

Диапазон его поисков, творческих устремлений сделался еще шире и разнообразней, когда Николай Яньков стал корреспондентом журнала «Вокруг света» по Восточной Сибири. Его журналистские пути-дороги пролегли теперь на Байкал и в Якутию, к загадочному таежному Арей-озеру и в Агинские степи, где пасутся тысячи тонкорунных отар, к строителям Байкало-Амурской магистрали, за седой неприступный Кодар и в долину древнего Онона, что помнит набеги диких орд Чингисхана и хранит об этом немало тайн... То были не просто командировки по заданию редакции. Происходило накопление все новых и новых впечатлений, современного, подлинно жизненного материала, без овладения которым нет писателя. Углубленно переосмысленные, прочувствованные сердцем, эти впечатления дали Н. Янькову добротную и убедительную основу для художественного самовыражения. Так появились его рассказы. Так многие его очерки обрели широту обобщения, яркость и силу рассказа. Так сложилась эта взволнованная, своеобразная книга талантливого прозаика, которую вы, читатель, держите в руках. Это вторая книга Н. Янькова. Первая — «Соло-

нец» — вышла в 1974 году в Иркутске, в Восточно-Сибирском издательстве, и была совсем невелика.

«Закон предков» — так уж несправедливо распорядилась судьба — стал посмертным, словно бы итоговым сборником. Он объединил, принял под одну обложку лучшее из того, что успел написать, закончить мой земляк. Успел он, к нашему глубокому сожалению, немного. Но поведать сумел о многом. Исказал посвоему — свежо, емко и ненавязчиво, доверительно и правдиво, с той естественностью, лишенной всякой претензии, мнимой значительности интонацией, которая присуща человеку вдумчивому и пронизательному, полно и точно, не по верхам, а изнутри, от самой сути знающему все, о чем он пишет, — будь то сибирская охота, поведение зверей и птиц, картины неукротимого, губительного лесного пожара, тихая, вся наполненная ожиданием чуда весенняя зорька на глухарином токовище или быт, обычаи следопытов-звенков.

Недели, месяцы ежегодно, по всякой поре, проводил Николай в забайкальской тайге. Он знал ее, хорошо понимал и самозабвенно любил. Как же она могла не войти в его рассказы? В них она привольно живет, могуче и широко дышит, переливается радугой, выступая одним из главных героев повествований, — всегда зримая, осязаемая и многозвучная, неповторимая в своей красоте, в удивительной цельности и целомудрии, величественная и гордая, порой суровая, но вместе — ранимая, беззащитная перед глумливым, бестолковым топором, ненасытным хапугой-временщиком, перед необузданным, от браконьерского костра или пала вздыбившимся огнем, перед злом, беспечностью, человеческим неразумением или постыдным равнодушием. Но столь часто автор обращается к тайге и горам вовсе не в поисках дешевой — и такой расхожей в иных скороспелых писаниях о Сибири — внешней экзотики, ничуть не из желания непременно поразить читателя охотничьими приключениями, во что бы то ни стало потешить его какой-нибудь глухотанной невидалью, захватывающей диковиной. Ничего этого нет в рассказах Николая Янькова. Нет в них и холодной, созерцательной описательности. В каждом присутствуют и открытие, и удивление неведомым прежде, о чем просто невозможно не рассказать, и напряженное раздумье, скрытая грусть от сознания, что никакая красота не вечна. Для Н. Янькова природа — сам облик Родины, большая и чрезвычайно важная часть нашего бытия и нашего естества. Она — и кормилица, и друг, и врачеватель, и сердцу отрада, но зачастую она — и горький упрек, обвинение нашему легкомыслию и попустительству, неумению сберечь, отстоять для себя и для потомков дарованные нам, от веку достав-

шиеся блага и красу родной земли. И когда в «Рыбе-радуге», «Арей-озере» и в других рассказах писатель говорит об этом, когда он предупреждает, насколько велики, необратимы и горьки могут быть потери при бездумном, потребительском отношении к лесам, озерам, рекам, к «братьям нашим меньшим», голос его звучит особенно тревожно, будит чувство ответственности за судьбу всего, что окружает нас и без чего немыслимо наше существование.

В соприкосновении с природой, ее чистотой и неподкупностью, в столкновениях с преградами, опасностями, неизбежными на таежных тропах и дорогах, на нелегком, часто изнурительном промысле обнажаются характеры, проверяется личность, явным становится истинное и ложное в людях. Сколь бы искусно и долго ни прикрывались личиной добропорядочности трус, хапуга, подлец, хитрый приспособленец, расчетливый карьерист — рано или поздно они все равно выкажут свое нутро, и тогда уже им ничем себя не обелить. Зато благородство и мужество, честность и бескорыстие, верность дружбе и готовность к самопожертвованию всегда оставят в жизни, в сердцах людей добрый след и по достоинству будут оценены. Николай Янков умело и тонко, без нажима это прослеживает, раскрывает через поступки, судьбы своих героев, утверждая искренность и чистоту человеческих отношений, высокую нравственность. И вслед за автором мы проникаемся искренней симпатией к паромщику Егору, который презирает лицемерие и неправду, спекуляцию дорогой нам памятью о погибших на Великой Отечественной («Варакушка-соловей»); мы решительно становимся на сторону несколько нескладного, грубоватого Максима, столь же нетерпимого ко всякой лжи и ненасытной жадности («Трое на ледовой дороге»); мы глубоко сочувствуем наивному деду Чайковскому, такому трогательному в своем непоколебимом убеждении, что найденный им в тайге корень способен исцелить людей от всех недугов, сделать их мудрее, добрей, честней и вообще победить зло в мире и тем избавить его от войн, от угрозы ядерного побоища. И хочется продлить минуты общения с героями Николая Янкова. И после расставания с ними тебя не покидает вера в доброе начало на земле, и все более крепнет чувство признательности автору за то, что он увидел, открыл в жизни таких людей и талантливо, проникновенно и правдиво о них рассказал, за то, что распахнул перед тобой неоглядные просторы забайкальской тайги.

*Чита*

*Евгений Куренной*

## Перевалить Кодар

Греется Дюдувул на солнышке, деревяшку строгает острым ножиком. Может, птица получится, может, зверь. Рядом старик Чохтоо дымит трубкой.

Зимой Дюдувул наломал бока. Промышлять соболей далеко ходил — на Бургай. Теперь кочует с семьей по озерам и рекам вокруг Кодара. Тепло, тихо. У собак рты разинуты, языки висят. Бурбулен звенит — колокольчик олений. Олени щиплют траву, в ручье цветастые рыбы скачут — паутов над водой хватают.

Рыбу ловить бы надо. Колхозный председатель сказал, рыбу лови, Дюдувул. На вертолете привез сети, бочки.

Бочки на солнце высохли и рассыпались. Соболя Дюдувул ловить может, рыбу не может. Кое-как один раз кинул сеть в озеро, пришел сохатый купаться, запутался — злой был! Все порвал. Дюдувул глядел, смеялся: зверь бодал сеть рогами, фыркал, бил копытами. Ему, зверю, что? У сохатого не будут просить рыбу, у Дюдувула будут просить. «Давай, Дюдувул, рыбу...»

Блестят вершины Кодара. Снега блестят, льды. Небо синее. Тени в ущельях тоже синие — остатки ночи. Скалы красные. На красном — зеленое: травы, мох, деревья.

Старик Чохтоо закрыл глаза — дремлет. А может, думы крутятся в голове, оттого и закрыл глаза. Шилбо-рок, жена Дюдувула, катает лепешки на камнях. Девочки нашивают на унты бисер. Невесты — красивое любят! Две девочки — Чэкэрэк и Аярик.

Дюдувул вертит в пальцах оструганную деревяшку, смотрит на горы Кодара. Гудят горы, поют. Густой трубный гул чудится в красках и острых изломах Кодара.

Сердце и голова Дюдувула полны раздумий. Охота взлететь в небо — до того в груди хорошо и радостно.

Шилборок, мешая ложкой в котле и отворачиваясь от дыма, говорит:

— Непогода будет, торанг. Собаки тянутся.

Правду говорит Шилборок. Собаки ломают в зевоте челюсти, катаются на траве. Рваное облако пухнет под зубцами хребтов.

Торанг скатился, когда сели обедать. В ударах ветра — запах зимы. Летит белый дым, визжат деревья, мелькают оборванные листья, кусочки коры.

— Духи Кодара сердятся,— говорит старый Чохтоо.

— Зима с летом дерется,— соглашается Дюдувул.

Он долго ест, долго ковыряет спичкой в зубах. Ложится на мягкие шкуры, лениво шарит рукой у изголова — ищет радиоприемник. Приемник сильный — премия за удачный промысел. Охотился Дюдувул на Бургае и Торе, далеко ходил. Хорошая охота, радио хорошее. Плохое радио в большой ветер не работает, это — работает. Песни играет, разговорами веселит Дюдувула.

Говорят: лесу напилили много, реку запрудили. Говорят: на Луну полетели — собирать камни. И еще говорят: бомбы бросают на крыши домов, стреляют в спины деревенских жителей — люди бегут прятаться в лес, в джунгли. Израиль покупает военные самолеты. В другом углу земли сгоняют людей в стадо, огораживают проволокой, вырывают им железными крючками глаза. Говорят: хунта!

— Двуногие совсем одичают,— говорит старик Чохтоо,— шерстью, однако, обрастут.

— Обезьянами опять станут? — хохочет Дюдувул.— Это учитель на собрании говорил: человек родился от обезьяны.

Чохтоо сверкает своими сединами: правда, правда! Чохтоо много видел. Шел с винтовкой от Волги до Берлина. Спокойный Чохтоо, мудрый. Дюдувула от пьянства вылечил. Пил-то шибко, Шилборок таскал за волосы, пинал ногами в живот. Шилборок мальчика родила мертвым. Чохтоо хотел убить дурного зятя, потом раздумал: насобирав черной травы, навозных грибов. Накормил Дюдувула этим варевом. Дюдувул корчился на полу, плакал. Умрет, думал. Однако голова на третий день стала светлой, легкой.

Дюдувул теперь тоже стал умным. Почти как сам старый Чохтоо. Зимой много соболя промысляет, летом радио слушает.

В отличие от Чохтоо Дюдувул дальше Иркутска нигде не был, но и он мировые страсти хорошо понимает: когда вместе собирается много людей, они начинают пугаться, дичать. Зверя нет — какая охота? Хлеб на асфальте тоже сеять нельзя. Кругом дома и дома, камни. От страха люди начинают льстить и обманывать. Охотятся друг на друга — злые, хитрые. Один работает, другой пытается его обманывать — бумагами. Тогда и первому неохота работать — сам хочет обманывать.

— Шибко много дорогих вещей делают, — говорил Чохтоо, — охота их людям иметь, а все дорогие вещи сразу может иметь только мошенник.

В руках девочек сверкают иголки и бисер — сидят шьют возле огня. Две дочери — Чэкэрэк и Аярик. «Уйдут туда, где асфальт и камни, — с некоторым удивлением думает Дюдувул, — выйдут замуж».

— Раньше дорогих вещей не было, все двери стояли открытыми, — удаляется в далекую старину Чохтоо, — охотники привозили сохатого, сваливали посреди стойбища — подходи, бери, кому надо есть! А потом приехали купцы... Водка всякого может худым сделать: мясо на глазах нарастает.

Мужскую беседу прерывает Шилборок. Стоит, трясется от страха, бормочет, показывая рукой за тонкую стенку палатки:

— Там... бувки ходит, покойник!

Торанг гудит, рвет брезентовый чум. Шилборок вышла наколоть дров для печки, влетела обратно без топора.

— Бувки! — говорит.

Дюдувул делает ртом сердитый звук «хык», хочет ругаться, но падает на мягкие оленьи шкуры — хохочет! Глупая баба: разве может ходить покойник? Дюдувул вдоволь насыщается сладким смехом, говорит — не так наставительно, как иронично:

— Бувки — такие же люди, как мы, только не ходят. Их не надо бояться. Бывает, живых надо бояться. Ага!

И тут открывается брезентовый полог, тычется слепая голова, закиданная мокрым снегом. Злой белый дым

с визгом врывается в палатку, едва не загасив огонь. Дюдувул не боится ни духов, ни бувки, но голова действительно вид имеет потусторонний: шапка вся сгнила и теперь болтается лохмотьями, а там, где бывають у человека глаза, чернеют две круглые ямы. Упала голова вниз, на пороге.

Чэкэрэк кричит, закрыв лицо камусом. Шилборок садится: может, ноги подкосились от страха, может, хочет спасти девочек. Дюдувул молчит, смотрит, что будет дальше. Первой догадкой было: сосед-пастух Васька Гыргенов пришел, пьяница. Будет заставлять хлебать спирт, оскорблять начнет: пьяница пьяниц любит. На этот раз Дюдувул по-настоящему разозлится, ответит на оскорбление: вынесет Ваську за дверь, ткнет носом куда надо. С тех пор как старик Чохтоо накормил Дюдувула колдовским варевом, он не выносит спиртного запаха — лихотит.

Торанг как будто еще больше ярится. Ветер треплет полог палатки, визжит в дымовой трубе. Дюдувул наклоняется над упавшим. Мешковина, которой была обмотана голова, от прикосновения расползается. Дюдувул хватает прямо за волосы. Слетели черные снеговые очки, а под ними — обыкновенные глаза в белесых ресницах. Рыжая борода вьется колечками. Дюдувул дивится: нет, это не Васька Гыргенов. Но все равно, однако, знакомый. Где-то Дюдувул видел эту рыжую бороду.

Тело оборванца втянуто в палатку, уложено возле раскаленной жестяной печки. Дюдувул приложил ухо к груди: человек живой, дышит! Старик Чохтоо шебуршит сушеной травой — целебный корень ищет в сумке из ровдуги. Волчий корень. Сильный корень — мертвого может поднять.

Чохтоо зажал корень в руке — думает. Давно было. Такой же белобрысый пришел, новой бумагой грозил, короткое ружье-наган на боку. Страшно ругал Чохтоо: нельзя шаманить, корни-травы сушить. А разве Чохтоо шаманом был? Он просто сушил летом целебный корень и травы на пользу людям. Разве новая бумага запрещает делать добро людям?

Чохтоо тогда сильно обиделся. Не испугался — обиделся. После понял: новая бумага хорошая, правда и добро в ней. Белобрысый человек был худой. Худые люди любят прятаться за хорошей бумагой. Жестокий торанг

судьбы собрал их потом в большие толпы, гнал и гнал за гребни Кодара, на Север, в мутные льды Ночного моря. Правых и виноватых — такой был жестокий торанг. Медведи и волки в ту осень жирели. Они просто трескались от довольства и жира. В тот год охотники впервые заметили, как открыто и нагло волк смотрит в человеческие глаза — насмехается.

Чохтоо бросает к ногам Шилборок кусок корня:

— Завари в чайник.

Дюдувулу Чохтоо говорит:

— Турисыт. Или геолог.

Дюдувул соглашается: турист это. Человек, который ходит по земле только потому, что ему охота ходить. Эту рыжую бороду он уже видел в прошлом году. На озере Липриндо или на речке Курунг — Урях. Где-то видел.

— Ходят и ходят, — ворчит Чохтоо, — четыре зимы назад шестерых задуло турисытов. Такой же торанг был. Как этот не сдох? Камни роняет.

В торанг рычат скалы Кодара: камни катятся. Камнепад даже сокжоев, диких оленей, иногда забивает насмерть.

— Не знаю, почему ходят? — ругается Дюдувул. — Лучше бы рыбу ловили. На Дюдувула два воза вешают: зимой Дюдувул мерзни на собольей тропе, летом в холодной воде мокни.

Дюдувул разглядывает бороду странного человека, вспоминает слова Чохтоо: «Шерстью обрастут, злые станут». Догадка приходит: рыжебородый, поди, оттуда, где стрельба, бетонные ямы и железные крючки для глаз — хунта! Шпион Паурса залетал, радио говорило. Этому почему не залететь или не приплыть по Лене-реке с берегов Ночного моря?

Шилборок подает отвар корня, но незванный гость и без корня шевелится, ожил. Стягивает с головы остатки гнилой мешковины. Выпростался из телогрейки — солевшей и рваной. В свитере сел, сидит. Трет ладонями виски, шею. На людей не смотрит. Молча берет кружку из рук Шилборок с горячим отваром. Девочки Чэкэрэк и Аярик спрятались в угол за ситцевый полог, сквозь щель смотрят, как парень пьет. Молодой парень, желтый. Борода и волосы желтые — лисий хвост. От горячего питья лицо парня потеет, красное. Торанг гудит.

— У,— говорит парень,— дым учуял, вот и набрел на вас. Штормовку сорвало и унесло ветром, потом рюкзак укатился в пропасть. Бр-р!

Буран поднялся, он спал на лужайке, рассказывает парень. Носки и штормовку на палку повесил — сушить. Проснулся от рева воздуха, одежды на палке нет — сдуло. Растерялся, забегал в поисках укрытия и попал на каменную осыпь. С перестуком колес на рельсах камни неслись вниз, к пропасти. Барахтался в камнях, упал. Как выскочил? Рюкзак догадался сбросить. Рюкзак вместе с камнями ухнул в пропасть. В сломанном балагане нашел на пути какие-то тряпки, обмотал голову. Шел и шел все время навстречу ветру, чтобы не сбиться.

— Если бы не поймал запах вашего дыма, не знаю, что было бы,— говорит парень.

— Сдох бы, сдох! — соглашается Дюдувул.— Тайга, домов нету.

Чохтоо вспоминает шестерых, которые ушли и не вернулись с гольцов Кодара — большой торанг съел следы, нету людей. Туристы: ходят и ходят! «Кочевать охота,— думает Чохтоо, пытая своей трубкой,— кочевать не могут, а все равно выбирают места получше, смотрят».

Рыжий упирается глазами в лицо Аярик. Девушка — в обморок упадешь! Рубиновый луч — лазер. Голова каруселью!

Парню дают меховое одеяло, поят мясным бульоном, велят спать. Утром он поднимается совсем здоровым, веселым. Оказывается, зовут парня Андреем. Чохтоо охота разговаривать — свежий человек. Торанг утих, светит солнце.

— Война была, к Берлину ходил,— говорит Чохтоо и машет дымящей трубкой в сторону Запада,— народу много видел. Говорят, еще больше стало народу, плодятся шибко?

Лицо Чохтоо все в морщинах — прошлогодняя высохшая картошка. Но глаза хитрые. Быстрыми соболями бегают в них мысли. Андрею забавно поговорить со старым эвенком.

— Народ? — говорит Андрей.— С количеством все в порядке, дело за качеством.

«Ага! — шевелит извилинами Чохтоо.— Качество — это когда лучше надо. Дурной человек лучше не хочет, добрый — хочет».

— Отец твой не охотник, за что ему дают еду, деньги?

— Он певец. Поет.

— Где поет?

— На сцене, по телевизору и по радио.

Андрей кивает на роскошный транзисторный радиоприемник, который выставлен Дюдувулом на видном месте: пусть гость видит, какой у него красивый подарок за удачу на промысле. Дюдувул хороший охотник, далеко ходил соболей тропить — на Тору!

— У отца бравый-то голос? — спрашивает Чохтоо.

— Был бравый. Сейчас испелся, осип.

— Все равно поет?

Андрей кивает.

— Почему поет, раз голос худым стал?

— Не знаю. Старости боится. Или молодым завидует.

Чохтоо сидит удивленный. Сам он тоже старик, скоро пойдет туда, где «верхний колхоз». На сердце будет светло и тихо — так он пойдет. Последнюю каплю сил Чохтоо истратит на то, чтобы уйти в горы Кодара и там завалить себя камнями. Так у них в роду старики делали. Чохтоо так сделает, когда настанет пора умирать. Зачем бояться? Придет старый Нюргун, будет маленько камлать, в праздничный бубен бить: хорошо жил Чохтоо, честным был, все его любили, теперь пошел Чохтоо в «верхний колхоз», на вечную пенсию!

Чохтоо давно бы ушел — внука ждет. Чтобы в глазах и в сердце было светло, внука надо увидеть. Но внука нет: пил Дюдувул дурную воду в бутылках, стукнул беременную Шилборок ногой в брюхо, Шилборок мальчика скинула.

День светлый. Тени в горах. Синева. Терпеливые, подголочные растения пьют талый снег, в речке прыгают цветастые рыбы — мух ловят. Речная вода тренькает в камнях. Андрей и Чохтоо беседуют. В щелках глаз Дюдувула недоверие. Лицо гостя ему не особенно нравится. При свете дня совсем рыжий. Все равно как искусственный соболь: блестит воротник, а тепла нету.

— А я тебя видел в прошлом году, — говорит рыжий Андрей Дюдувулу, угадывая недружелюбие к себе.

— На Курунг-Урях видел, что ли? — прикручивает радио Дюдувул.

— На Курунг-Урях я тебя видел в позапрошлом году. А прошлым летом на Липриндо встречались.

У Дюдувула вышибает на ладонях пот: он и в позапрошлый год ходил вокруг Кодара, этот парень! Что-то здесь не так. Зачем ходить? Был бы геолог...

— Турисыт не ходит по одной-де тропе дважды,— вставляет Чохтоо,— не ходит. Но, но!

В речи эвенков угадывается оттенок угрозы, но Андрей весело:

— Я тебя на Липриндо видел, Дюдувул. В прошлом году. Начальник еще к тебе приезжал, заставлял рыбу ловить. А у тебя сеть запуталась, ты разозлился и всю сеть изрубил топором в лапшу. Это была картина!

Андрей смеется. В глазах скачут синие искорки, и золотыми пружинками прыгают волосы на голове. Зубы белые — снег на гольцах в конце августа.

Дюдувул помнит: было такое, порубил сеть! Шибко злой тогда был. А теперь смеется. Пропала вся насто-роженность. Дюдувул смотрит на рыжего парня и громко смеется. Чохтоо веселится, щерит желтые табачные зубы. Робко хихикают Чэкэрэк и Аярик, разглядывая гостя. Шилборок вышла из палатки и тоже хохочет.

— Нонче-то сохатый порвал сеть рогами, но-о!— подливает масла в огонь Дюдувул, мотает головой и машет руками, показывая, как злился сохатый, с сетью дрался.

От хохота вздрагивает хвоя лиственниц. Олени перестали щипать траву, смотрят удивленными глазами в сторону стойбища. Дюдувул вдруг делается серьезным.

— Нонче-то председатель на вертолете был, опять заставлял ловить рыбу. Дюдувул не рыбак, охотник. Когда один человек берется делать зараз два дела — лентяем станет. Пусть Васька Гыргенов ловит рыбу, все равно не пасет оленей — спирт лохчит.

— Когда на одну ногу натягивают второй унт, унт порвется,— поддакивает Чохтоо.

— Дюдувул хороший охотник,— с детской простотой хвалит себя Дюдувул,— соболей два плана принес. Хорошее радио дали — премию. А все равно будут ругать Дюдувула: рыбу не ловит. Хороший человек в глазах начальства не бывает хорошим. Васька Гыргенов хороший...

Дюдувул плюет. В радио кричит много народу: мячик пинают. Двое-трое пинают мячик, а много народу сложили на коленях руки — смотрят на мяч. «Десять тысяч пар глаз устремили свой взор в центр поля», — хвастает дареное радио. Каждый человек поймает по одной рыбе тайменю, считает Дюдувул, выйдет десять тысяч рыбин! Гора величиною с Кодар. Но они сидят, смотрят мяч. Одни пинают мяч, другие ходят и ходят, а хунта делает пушки. А такие, как Васька Гыргенов сидят и пьют спирт — голова пухнет!

Андрей нашел в кармане крючки. Только и осталось богатства: перочинный ножик и рыболовные крючки в бутылочке из-под пенициллина. Все остальное вместе с рюкзаком ухнуло в пропасть.

— Пойду, побалуюсь, — говорит Андрей и просит для леса суровую нитку или кусок капроновой жилки.

— Во, жилка! — выходит из палатки Чохтоо с мотком в руке. — Настоящая, оленья: шигда.

Андрей пробует — крепче капроновой. Шигдой женщины унты шьют, объясняет Чохтоо. Но и для леса годится, поди.

Андрей срезает ветку для удилица и уходит по речке вниз. По кустам тихо крадутся обе девочки — Чэкэрэк и Аярик. Дюдувул велел смотреть, куда пойдет парень и что будет делать. В далеких землях нет мира, нельзя никому верить. «Хунта...Ирландия...Израиль», — говорит радио.

Дыбятся горы Кодара. Гудят. Вечная песнь жизни и смерти. Вечная тень радости и печали. Кодар — жестокий и добрый. Кодар, который отнял у Андрея любовь и теперь дает ему силы. Щербатые камни высот скребут облака. Сливаются в белое дым облаков и вечные снега гольцов, где не обитает живое. Редко-редко пройдет лишь загадочное животное — снежный баран.

Между высотами — седловина. Там угадывается оленья тропа. Тропа диких оленей. По этой тропе ушла любовь. Ушла в рубчатых горных ботинках и брезентовых джинсах. Ушла перевалить Кодар, а он, Андрей, остался со стертой ногой у камня, возле которого упражнялся с бубном шаман-любитель, молодой тунгус с речки Курунг-Урях.

И вот теперь Андрей третье лето прилетает из

Минска — «с другого края земли» — в Чару, чтобы одолеть Кодар, стать самим собой. Или чуть выше! «Надо быть выше», — говорят про униженных.

В кустах хихикают Чэкэрэк и Аярик. Андрей смешно хлопает себя по щекам и шее — ловит паутов для наживки. Прыгают в бочаге цветастые рыбы — хариусы, ловят мух, паутов и бабочек, упавших на воду. Падает на струю паут с крючком — бросок цветной молнии, вода бурлит. Сгибается в колесо ивовое удилище. В руках Андрея — холодная рыба. Поднебесный гольцовый лед. Запах льда. Настоящая удача всегда цветастая, но холодная. Как дождь для сухого поля. Лед и мудрость. «Истинная мудрость отдает холодком», — сказано древним. Вода холодна и прозрачна. Рубиновые плавники хариусов дрожат в струях. Струи — струны. Река — гитара. Басовито поет в камнях, толкутся в хороводе рыбы. На крючок они кидаются с жадностью. Андрей бросает в траву тяжелых рыб — одну за другой. В сонной траве зундят мухи. У себя за спиной Андрей слышит возбужденный шепот Чэкэрэк и Аярик. Хочется ему хоть одним глазком увидеть Аярик — дивная! Но Андрей чувствует: один шаг в ту сторону — и девушки прошумят в чаще, как ветер.

Дюдувул послал девчонок подсматривать, Чохтоо не пошлет. У Чохтоо лицо мудреца. Мудрость приходит с годами. «Атомная война будет, нет?» — спрашивает Чохтоо. — Если будет, то люди одичают и обрастут шерстью. Опять на земле станут жить одни только звери». Старики думают об одном и том же — в Москве, на Волге и вот здесь, в диком углу Кодара: будет ли война?

На таборе шум. Потные Чэкэрэк и Аярик показывают руками, как Андрей машет палкой с ниткой из шигды — ловит рыб. Много рыбы!

Через час приходит и сам Андрей. Он, действительно, едва несет улов. Жирные хариусы тяжелыми гирляндами висят на здевах — таловых прутьях. Два толстых ленка висят отдельно — через плечо. Третий ленок оборвал лесу, ушел с крючком.

— Давай бочки, Дюдувул! — смеется Андрей. — Солить будем.

Чохтоо одобрительно щурится. Шилборок хохочет. Дюдувул недоверчиво трогает рыб: сети нет, как одной маленькой железкой поймал столько рыбы?

Горит костер. Запах ухи и дыма. Солнце упало за спину Кодара — тихо шевелятся последние лучи в оранжевых и зеленых размыках. Уху варит Андрей. Но сначала он рубит дрова. Сверкает лезвие топора, летит щепка. Куча дров! Потом Андрей учит Шилборок готовить уху.

— Сам варить мастер, жену не надо! — смеется Шилборок.

— Надо жену, но-но! — не то сердится, не то смеется Чохтоо. — Аярик нашу бери, сладко жить будешь! Ладная девка. Мальчика родит. Надо мальчика!

Этот рыжий — ладный парень, только все время горбится, будто на его плечи тяжелое давит.

Аярик в смущении прячется за спину матери. Андрей тоже вдруг краснеет от неожиданности: Аярик красивая. Чэкэрэк низкорослая, толстенная — тарбаган, каким он бывает под осень, в сезон охоты. Аярик быстрая, тонкая. Глаза на матовом смуглом лице по-восточному длинные. Губы не надо красить и щеки — натуральный румянец, свой. Имя Аярик — звук летящей стрелы.

— Завтра вместе пойдем рыбачить, — чтобы скрыть смущение, говорит Андрей Дюдувулу.

Аярик! Андрей даже смотреть на нее боится. Глаза слепит. А точнее — накатывает липкая робость, туман. «Аярик нашу бери себе в жены».

Костер качает тени. Схлебали уху, хвалят Андрея. Дареный радиоприемник Дюдувула гудит без умолку. Звучит венгерский чардаш.

— Плясать охота, — говорит Шилборок и колотит ладонями в ритм танца.

— Аде! Аки! Омоко!

Гудит лунный Кодар, гудит чардаш. Пляшет Дюдувул с Шилборок, и обе девчонки пляшут.

— Хумкай, хорго, хунде! — забавно кривя рот, кричит эвенкийские танцевальные выкрики Дюдувул.

Аярик в черном спортивном трико и белых «городских» туфлях. Ломкая стрелка. Молния. Огонь в глазах. Не по земле стучат каблучки белых туфель — по сердцу Андрея.

Аярик зовет в круг — улыбкой, взмахом рук. Но Андрей сидит — размяк, словно рыба на солнце, недвижимый. Оцепенел. Сладкая тоска, боль и робость. «Аде, аки, омоко!» — эвенкийско-венгерский чардаш.

А Чохтоо опять о войне. Были люди хунну. Не хотели работать. Воры. Хотели обманывать, отнимать, грабить. Бумагой и спиртом отнимать не умели, отнимали прямо — дубиной и топором. Саранчой шли, тучей. Вой, дым и пыль. Эвенки отодвинулись в глубь тайги, в сторону Ночного моря. Унесло хунну. Пришли ниоткуда и ушли в никуда. Только искры остались. Размело по земле искры. Сейчас они мелькают в глазах людей. Искры вражды, жадности, зависти. Свирк — и нету. Свирк-свирк! Мелькающий стоп — огонь самолета. Переселят, разгорятся искры в огонь — будет атомная война. Люди одичают после того и обрастут шерстью. Будут ходить в лесу одни только звери.

Огонь костра качает танцоров. Тени качает. Ночь блестит в круглых глазах оленей.

— Хунну-хунта! Хунну-хунта! — изобретает новые танцевальные выкрики Дюдувул.

Силы исходят. Дюдувул и Шилборок падают на траву. Чэкэрэк и Аярик убежали в кусты. Смеются, хихикают. В спину Андрея летят из темноты пихтовые шишки. Девичьи игры.

Андрей не знает, что делать: обидеться на эти смешки или вскочить, догнать Аярик, осыпать лицо дикими поцелуями? Догнать и схватить невесту — бывает такой обычай...

Спят на стойбище. Все спят. Только Андрей остался сидеть у костра на медвежьей шкуре. В палатку нельзя. Там — Аярик. Магнитное поле. Дрожь осиновых листьев.

Олени фыркают, трясут ушами. Звенит бурбулен, окликающая звезды. Белый пепел на углях. Струйки дыма как бы сплетаются в замысловатое кружево слова и думы Чохтоо, который сидел на той стороне костра. Старик опять спрашивал про отца. Среди молодых певцов у отца кличка: Сипатый. «Водку-спирт пьет? Но-о! Почему старости-то боится?» Бывают такие люди: боятся своей старости и чужой молодости. Пинают молодых. А может, на крепость пробуют? У дикарей было испытание для молодых воинов: ставили босыми ногами на раскаленные угли. Андрей обжегся, не выдержал испытания. У него свое: Кодар! Висит над головой — огромный и темный. Давит. Где-то далеко наверху ледяные поля Сыгыкты — застывший страх.

Ночь и дым. И рассвет — дым. Туман в отрогах. Андрей несет к речке бочонок замачивать. Приволок из лесу на дрова две огромные сушины, а теперь налаживает бочки. Бочки у Дюдувула рассохлись. Клепки рассыпались. Олень с бельмом на глазу сопит, тычется мордой в плечо Андрея — соли просит. Олень Чохоты — одноглазый. Смирный олень. Дюдувул стоит босиком возле палатки, чешет спросонья грудь. Андрей манит его ладонью: пойдем рыбачить! Уйти, пока спит Аярик.

Речка петляет в камнях, крутит прозрачные струи в ямах. Ямурит. Андрей налаживает удочку себе и Дюдувулу. Паутов еще нет — рано. Андрей цепляет на крючок рыжего древесного муравья, забрасывает на воду. Всплеск, удар! Дюдувул хохочет, радуясь первой рыбине. Все просто! Рыб в яме — стадо оленье. Кажется, сунь руку — пальцы откусят. Роса блестит на траве. Радуга в каплях росы, цветной огонь.

Андрей инструктирует Дюдувула, уходит. Ловит на другой яме. Рыбу он сегодня складывает в переметную суму из сыромятной кожи. Сзади кто-то кустами шуршит, травой. Олень Чохоты идет? Оглянулся — двое: Аярик с сестрой. Хоть на ту сторону речки прыгай.

— Бувки! — смеется круглолицая Чэкэрэк, закрывая ладошкой рот.

— Так мама сказала, когда увидела тебя возле палатки в торанг, — говорит Аярик и тоже смеется, — но ты не бувки. Ты — солнышко. Ты — рыжее солнышко.

Андрей нагибается к суме — положить рыбу. Аярик рядом. Гладит рукой волосы: рыжее солнышко, дельча!

— Ты меня любишь, — тихо говорит Аярик, — я видела. В твоих глазах видела. Люби меня, не бойся!

На Аярик шелковый зеленый халат, медные пуговицы-бубенчики. Волосы пахнут ягелем. Речка вызывает голосом Аярик невероятные слова-ласки? Сон!

Дюдувул щурит глаза. Подошел и сел на камень, стругает деревяшку. Удочку Дюдувул бросил. Пауты гудят. Муравьев ловить неохота, а паутов Дюдувул брезгует. Ладная парочка — Андрей и Аярик. Удачный парень. «Хунта», — думал всякую чепуху Дюдувул. Теперь самому смешно. Хунта не умеет работать — еду и всякое добро обманом к себе гребет. Рыжий — удалый мужик. Работающий. Сразу видно. Две тяжелые сушины принес на табор. Утром по железному обручу стучал

топором — колхозные бочки налаживал. Аярик гладит рукой рыжие волосы. «Палатку поставлю,— радуется Дюдувул,— палатку Андрею с Аярик. Чохтоо сказал: мальчик будет!» В природе все просто. Дюдувул — сын природы — ставит палатку Андрею с Аярик.

— Твоя палатка,— смеется Чохтоо сквозь табачный дым,— и Аярик твоя.

На ночь Андрей опять остается возле костра. Но теперь не один — рядом с Аярик. Девичьи волосы черной рекой стекают на плечи, мерцают глаза. Может, она в нетерпении ждет, когда он возьмет ее на руки и внесет в брезентовый дом. Мягкое заячье одеяло, олени шкуры, полог от комаров...

Звезда над Кодаром. Ее чистый блеск говорит о чести. Не всякому дано понимать звезду. И внутренний смысл свечения алой саранки не каждому живому существу дано разгадать. Для оленя, к примеру, красная саранка потому и красива, что ее можно вместе с травой растереть на зубах и ощутить вкус сладкого сока.

Войти в палатку с Аярик на руках под глазом звезды — поставить себя на положение вора, обмануть. Ведь он не мужчина! Не с физической стороны, конечно. Тут все на месте. Но со стороны духовной — он нищий. Оскорблен и осмеян. Унижен три года назад через свою боязнь. Крутится вокруг костра, переплетаясь с дымом, нечто похожее на беззвучную музыку. Разговор без слов. Очень тонкий и сложный разговор, понятный ей и ему. Взявшись за руки, уходят они к ночной реке. Олень Чохоты звенит колокольчиком.

На восходе Дюдувул заглядывает в палатку молодых. Сильно разочарован: постель осталась неразобранной. Как лежала, так и лежит. Никто не спал.

— Ты мне лучше дай топор, спички и немного еды,— усмехается Андрей,— в Кодар пойду.

— Ты потерял что в Кодаре?

Дюдувул сердито плюет. Он оскорблен в лучших чувствах. Аярик рядом нет — ушла к речке мыть посуду. Дюдувул думает вслух: разве у него дочь горбата или крива на один глаз?

Андрей, сутулясь, неловко объясняет Дюдувулу: он очень благодарен за уважение к нему. Аярик красива, он ее любит. Но у него сердце сейчас другим занято. Он очень многое потерял в Кодаре. Себя потерял. Свое

достоинство. На него давит груз унижения. Он должен его сбросить. А было так: шли они в Кодар с группой туристов. Андрей слегка натер себе ногу. Почти у самого перевала на скалах встретили парня с реки Курунт-Урях, который держал на коленях шаманский бубен. Парень, возможно, постигал тайны телепатии и гипноза, упражнялся. Он сказал: на белых полях ледников Сыгыкты группу застигнет торанг и все умрут.

Над предсказанием посмеялись. Но с перевала открылся неземной вид. Холодный и грозный. Чернели рытвины морен и трогов, мертвенно белели поля вечных льдов, зыбились обрывы. А прямо за перевалом, как бы зловеще предостерегая, вздымался пик Чертов Зуб. Не за себя — за девушку Андрей испугался: до озера Орон они не дойдут! А может быть, за себя. Он стал звать группу повернуть обратно, кричал, что у него стерта нога. Поругался с руководителем группы. Девушка, его невеста, смеялась.

Он ее больше не видел, никогда не увидит. Он тогда вернулся один, догнал парня с бубном, у которого в поводе были олени. Парень его отвез на стойбище Чапа-Олого. А достоинство и гордость остались на перевале. Чтобы вернуть их, он должен перевалить Кодар. Он уже третий год пытается это сделать.

— Чепуха! — не слушая, ругается Дюдувул. — Ты отверг самое большое выражение гостеприимства. Но-о!

Чохтоо дымит трубкой, внимает словам парня, думает. Потом говорит: парень говорит правду. Однажды струсивший валяется у людей под ногами кумаланом, тряпкой. Об него всю жизнь вытирают ноги. Он всегда внизу, а если выходит наверх, то сам начинает портить ум хорошим людям, мажет их грязью — в отместку, тайно. Этот парень не хочет быть червяком или тряпкой. Он говорит правду. Пусть перевалит Кодар и выйдет к озеру Орон. Добрые духи Кодара вернут ему достоинство и доблесть мужчины.

Чохтоо — мудрый, кто с ним будет спорить? Дюдувул успокоился, кивает: так, так! Он готовит Андрею понягу — рюкзак. Спички, соль, вяленое мясо — все, необходимое для похода. Вынимает из кармана оструганную деревяшку: ревущий олень. Рога вдоль спины.

— Барилак, амулет, — говорит Дюдувул, — пусть он охраняет тебя в дороге!

Пьют чай. Аярик выбирает для Андрея лучшие куски вареного мяса. Она спокойна: он уйдет и вернется. Любимый — дедыча, солнце! Дюдувул учит, где лучше ночевать и что делать, если настигнет в пути торанг. По ту сторону, на реке Сыгыкта, есть охотничье зимовье.

И вот — Мраморное ущелье. Невидимая тропа в каменной осыпи. Красные жилы в глыбах мрамора. Живое тело Кодара...

— Авгарат бекэл! — кричит Дюдувул. — До свидания!

Чохтоо машет рукой. Он сидит верхом на олене. Аярик четкой нефритовой статуэткой стоит на белом камне. На прощанье Андрей и Аярик потерлись носами, обнюхали друг друга — старый эвенкийский способ выражения ласки.

— Приходи! — говорит Аярик.

Орел парит в небе. На кедровых иглах капли прозрачной смолы. Сверкают на свежих изломах кристаллы мрамора. Праздник сегодня. Впервые за эти три года Андрей идет не горбясь. Идет и видит себя по ту сторону Кодара, на берегу озера Орон.

Паромщик Егор Бодров озабоченно тукал по палубе деревяшкой, прибирал паром. Правой ноги у Егора нет — дань войне. Он хоть на одной ноге, да притопал к себе на родину, а младший брат Костя — тот и совсем не вернулся.

Но и на одной ноге Егор прокрутился — будь здоров! И семью завел, и дом себе срубил новый, и детей вырастил — давно они поразъехались кто куда. Сам-то Егор работал в колхозе бухгалтером, а теперь шестой год на пароме орудует. Приставать стал последние годы: старик! И паром, может быть, запустил до этого.

Хотя паром — сам по себе старик. Еще до войны его ладили, списать пора. Доски парома изработались и подгнили. Прибирать — мало толку: старье оно и есть старье.

Гостей ждал Егор! Из сельсовета ему передали: приедут, мол, к тебе из газеты, жди! А кто и зачем приедет — не разобрали по телефону.

У Егора в груди торкнуло: писал он письмо в газету, вроде как жалобу на колхозного председателя — записал председатель!

Но про письмо он подумал вскользь, мельком, а думалось старое — про Гошу с Мишей, это они к нему в гости собрались, не иначе.

Плыли как-то на плоту два чудака немазанных, стали тонуть — Егор их выловил из воды. Оказалось — вчерашние студенты, родом с запада. Очухались, обогрелись в будке — хохочут: Сибирь, мол, поплыли осваивать, таежники-землепроходцы, ловцы костров и роман-

тики. Оба в областной газете работали — год как из университета. Веселые были ребята! На балясине парома в память о себе вырезали: «Кто мелко плавает, на мель не сядет. Миша с Гошей, ха-ха!» Егору прозвище выдумали: Бомбардир. Такие они были веселые, хохмачи.

На вороток, истертый канатом, села варакушка — неприметная серая птичка. К добру, видать! Не часто услышится кому в кустах голос варакушки, а увидеть ее и вовсе редко кому приходится. И будто бы удача тому случится, кому в глаза увидится соловей-варакушка.

И опять подумал Егор, что это Миша с Гошей обрадуют его своим приездом. Хороших людей увидеть — тоже удача! Егор тогда прямо помолодел возле них. Гамаюн Гоша походя шутками-прибаутками сыпал, а Миша к вечеру запалялся. Возле костра стихи читал о земной силе, а то с лицом ведуна говорил о людских слабостях: каждый человек, мол, за исключением немногих героев, подвержен зачатку порока. Постоянный духовный врач, дескать, человеку нужен, и что, мол, газетчик-писатель и есть такой врач. Гошу Миша Куликов называл талантом, будущим инженером человеческих душ, и Гоша переставал смеяться и тоже пускался в мудреную речь. Гошин хрипловатый тенорок накалялся и потрескивал, а светлые прямые волосы на голове разметались в разные стороны пшеничной соломкой. При этом Гоша весь подбирался и строго глядел в темноту.

В газете Миша Куликов писал про чужие книжки и кинофильмы, а Гоша Фокин сочинял фельетоны про разных бюрократов и ловкачей. Эти фельетоны Егор перечитывал по нескольку раз и даже приносил газетку с собой на паром — читал мужикам вслух. А если был пьяненький, хвастал: вот, дескать, какого человека спас от гибели Егор Бодров!

Теперь Егор так и считал, это они к нему едут — Гоша с Мишей. Но потом стал сомневаться и даже огорчился по этому поводу: времени прошло много, а писем от них не было, не писали они ему. Да и фамилии этих ребят перестали встречаться в газете. Может, давно отбыли к себе на запад яблоки кушать. Послали из газеты, конечно, человека по жалобе, и едет, всего скорее,

кто-то другой, хотя письмо Егор адресовал на Гошу Фокина.

В газету Егор писал критику на колхозного председателя Чуркина: что-де паром совсем прогнил, а новый допроситься невозможно — сколько можно ходить? Как в пустыне: криком кричи — никто не слышит. Задурил, мол, наш Чуркин: водку глушит, а, глядя на него, помощники тоже пьют. Но давно писал Егор такое письмо — полгода прошло, а может, и больше.

Покатилась с бугра машина — оранжевая, сверкающая стеклом и никелем. Яркая эта машина казалась осколком нездешнего праздника. Не любил такие машины Егор, ездят в ярко покрашенных автомобилях бездельники — так он думал, хотя и понимал, что так думать неправильно. Все их теперь такими на заводе делают.

Не хотел Егор, чтобы те, редакционные, прикатили на такой нарядной оранжевой колеснице. Он успокоился и взялся за дело, когда увидел, что это горожане приехали на вольный воздух. Вытаскивали на траву сумки с едой.

Егор соскреб с палубы конский навоз и разный мусор. Потом бултыхнул на дно барки ведро — накопилось в левой посудине воды чертова уйма! Аж паром на один бок клонит, когда плывешь. Так и до беды недолго: течет барка-то! Егор замучился черпать воду да конопатить.

Под палубой пахло теплым варом и гнилью. Деревянная нога цеплялась за поперечины, приходилось сгибаться с ведром в три погибели, а потом тянуться до края барки. Егор вытер рукавом потный лоб, насторожил ухо: будто машина опять почудилась — гудит на бугре. Егор тяжело закинул вверх деревянную ногу и перекатился на палубу.

Так и было: пылила «Волга» председателя. С Чуркиным они едут, что ли? Но — нет, не похоже. «Волга» нырнула в сторону и покатилась вдоль реки, где дымились белым кусты черемухи. Женщина в пестрой кофте, показалось Егору, сидит рядом с Чуркиным.

Пока Егор так стоял и думал, вода в барке опять уравнилась. А может, это только так показалось, что воды прибавилось. Егор в сердцах швырнул на дно барки окурок и выругался:

— Да растуды т-твою в канитель! Гори оно все синим огнем...

Выкурил еще одну папиросу и лег на горячие доски паром — часто теперь кружилась голова и ватным делалось тело, когда портилось настроение.

Обласканный солнышком и хлюпом воды о боковины барки, Егор пригрелся и задремал. Ощутился свободный и легкий полет земли сквозь невесомость космоса.

Разбудил Егора знакомый веселенький тенорок:

— А-а, старый Бомбардир! Ну, так и есть: над собой работает.

Спать — это у них «над собой работать» называлось. У Миши с Гошей. Это они... Рано или поздно они должны были приехать к Егору — просто им нельзя было не приехать. Ведь он их, можно сказать, спас от гибели — такое не забывают!

Егор плеснул в лицо воды из бадейки и окончательно стряхнул дремоту. Стоял перед ним Гоша Фокин в самом наилучшем виде. Волосы на голове Гоши торчали свежей соломкой, стекла очков легко отражали солнце и берега, а тенорок потрескивал от избытка веселья.

— Значит, прибыли? А я все думал: почему не едут? Год прошел, второй, третий...

— Чаше всего люди торопятся туда, где их меньше всего ждут! — сказал Гоша Фокин.

— А ну-ка, дай гляну. В штанах хоть ты? — заразился весельем и сам Егор, два раза повернул Гошу Фокина вокруг его оси.

— А у тебя что — лишняя пара брюк завелась?

Это они вспомнили, как Егор вылавливал их из воды, а потом собирал для них в деревне одежду: Миша с Гошей остались в чем мать родила. Плот у них тогда заволокло под паромный трос — болтался трос, провис, и хватало стальным канатом по мутным струям. Поднялась в то лето река и разбухла от большого ливня в гольцах. Егор, услышав вопли и крики, едва успел спихнуть на воду лодку...

— Да, идут годы! Но будто вчера все было! — радовался гостю Егор. — А Миша-то где?

Спросонья Егору показалось вначале, что друзья-приятели оба приехали. Но возле машины с пыльным брезентовым верхом никого не было, кроме шофера.

— Ха, Миша! Мишу Куликова теперь голой рукой не взять. Миша теперь в столице, в Москве. В аспирантуре учится — будущий академик! Книжку стихов выпустил.

— Ну, а ты сам-то как? Читал я твои фельетоны, читал! Все эти годы следил за газетками. Увижу «Г. Фокин» — так я прямо вместо конфеты твои рассказы сглатывал!

Гость порылся в портфеле и протянул Егору подарки: нарядную рубаху в красно-желтую клеточку и тоненькую книжечку. На книжке был нарисован дикий растрепанный парень, ломающий деревце, а сверху стояло: «Георгий Фокин. Скрипы и типы».

— Так сказать, завершающий итог трудов, полное собрание сочинений бывшего фельетониста.

— Силен, силен! — восхищался Егор и от восторга пропускал мимо ушей слова гостя. — Умно пишешь, ловко. Помню, фельетон «У самовара я и моя Маша». Зло было написано, смешно. Это про девицу-любовницу, которая начала отравлять жизнь конторских. В самую точку било! На таком человеке, который крадю ради утех у себя на работе заводит, можно смело поставить крест. Вот хотя бы нашего Чуркина взять — кругом колхозы богатеют, а у нас лентяй на лентяе... Кстати, я тебе письмо писал — про дела-то наши... Неужели не получил?

Гоша Фокин ничего не ответил. Егор немного смутился: что-то он заболтался, а ведь соловья баснями не кормят! Застукал деревяшкой по доскам паромы, извлек из потайного места весла и длинный шест.

— Я сейчас за свеженькой рыбкой сплаваю, — Егор специально ставил на Тихой протоке сетешку. — Посидим, уху заварим. А может, сразу домой, ко мне? У меня дома харюзок есть копченый, соленья, а?

— Успеем, Бомбардир, куда спешить? Все в наших руках, как сказал заяц, попав волку в зубы. Но сегодня я хочу провести ночь возле костра, наглотаться дыму и кислорода.

Плыть с Егором Гоша не захотел: после истории с плотом его как-то не прельщали разные мероприятия на воде.

Егор Бодров с силой отпихнулся шестом и направил лодку на самый стрежень. Неслась Дыкырингра,

крутила и ворочала струи, тая в себе немалую силушку.

Рыбы в сети немного: налим, несколько чебаков, два таймешонка. На уху есть, а куда больше? В осоке возились ондатры, облетал цвет черемухи — качались мелкие белые пуговики на воде. От запаха черемухи горчило в горле.

На той стороне кто-то визжал и хихикал. Егор глянул сквозь тальники: девица выскочила к воде из кустов, за ней бежал розовый и брюхатый Чуркин. В прыткой девице Егор узнал продавщицу из соседней деревни. Кура-Мура — такое прозвище было у этой девицы.

— Совсем обнаглел, — сказал сам себе Егор, но злости и раздражения на этот раз почему-то не было.

Врежут ему теперь по горбушке фельетоном-дубинушкой, допрыгался! На пароме сидит сам Гоша Фокин, он-то теперь ухватит Чуркина за мягкое место! Гоше Фокину, видать, не о чем было писать, изголодался Гоша — давненько Егор не видел в газете его фельетонов.

Возле парома ждал Егора лесхозовский грузовик. Пришлось переправлять. Гости взялись чистить рыбу, развели костерок.

Паром кренило набок, площадку покачивало. Шофер-лесхозник с испугу чертыхался, подкладывал обрезки плах под колеса машины. Ругался:

— Проходимцы вы, проходимцы! Все село ваше. Все вкривь и вкось, не как у людей. На заправке — грязь, скот бродит в потраве на поле. И паром — убийство, Ноев ковчег!

Горластый лесхозник ужасал Егора: не слышит ли Гоша Фокин? Хотя — зачем же? — пусть слышит; он, Егор, о том же ему писал. Теперь сам все видит и слышит — пусть крепче пройдет по Чуркину в газетке-то!

Но Гоша, казалось, с головой ушел в наслаждение водой и солнышком. Черпал ладошками воду и шлепал себя по груди, плечам, шее. С опаской послушного ребенка он присел на корточки у самого бережка — пенным кипением река, очевидно, напоминала Гоше о своей грозной силе.

На том берегу лесхозник долго не мог загнать машину с парома на помост: что-то трещало под колесами, грохало.

— Да растуды т-твою в канитель! — выругался

Егор.— Вот оно каждый день так! А Чуркин, ботало, вон он, напротив Тихой сейчас с девкой в догоняшки играет. Тебе, газетчику, полезно туда спуститься, глянуть на его рожу.

— В жизни всякое бывает,— сказал Гоша,— вот почему она интересна и притягательна!

Вил над костром причудливые узоры дым. К горькому запаху черемухи подмешивалась тревожная горечь дыма. Булькала и вкусно парила уха, огонь облизывал черные гляцевитые бока котла. Егор вынес из будки хлеб и посуду, но с того берега закричали — возчик молока вызывал паром.

Шофер Гоши Фокина, Ваня, помог оттолкнуть от берега утлую махину — завизжал вороток, истертый канатом. Дыкырингра навалилась на щеки барок и понесла.

И опять — шум и ругань. Телега молоковоза неловко слетела с помоста на кособокий паром. Загрохотали по доскам настила бидоны с молоком. С одного сбило крышку, и молоко вылилось в реку.

К концу дня Егор заметно устал — деревянную ногу он волочил с трудом. Гоша Фокин распечатал бутылку коньяка. Густой красно-зеленый сумрак натеял в долину. Понесло с реки холодком, у костра сделалось светло и уютно.

— За здоровье терпеливого духа этой реки Бомбардира! — поднял кружку Гоша Фокин.

— За встречу,— сказал Егор.

Ели по-старинному, по-деревенски — из общей большой миски.

— Нет сомнения: это — уха! — похвалил Гоша. — Еда богов и номенклатурных товарищей!

Минут пять молча работали ложками. Егору не давало покоя письмо. Получил ли Гоша Фокин его письмо?

— А ведь я к тебе по другому делу приехал,— сказал наконец Гоша Фокин. — Сатира и юмор — пережитки детства. На военную тему перехожу. Книгу о войне хочу написать.

— Какая война-то? Ты видел ее, войну-то? — удивился Егор. — Ты фельетоны валяй, критику — вот самая лучшая тема войны, и люди памятник тебе отольют — талант такой у тебя. Такое не всякому дано богом — вижу, хоть я и неотесанный пень.

— Да это мне все говорят. Но жизнь показала, что лучше писать о мертвых, чем о живых. Полезнее для здоровья. Теперь только понял. Чайник был, чайник...

Егор в растерянности зашарил в карманах — искал курево. Чертовщина какая-то! Он всегда думал, что есть мальчик Гоша, светлый Гоша — боец чести и совести, солдат земной справедливости. А оно — вот что!

На остывших углях костра трепетал белый пепел. Шофер Ваня подкинул сучьев, медленно набирал костер новую силу.

Егор встал и затукал деревяшкой — пошел в будку за куревом. Сидел один в темноте, курил. Вернулся, казалось, нехотя, без настроения. Новую порцию коньяка выпить отказался.

— Знаю, знаю, дорогой Бомбардир, о чем ты думаешь! Но раз захотелось спокойной жизни — что же делать?

Где-то на лужайке одинокий конь позванивал бубенком. Высоко в небе самолет тянул над долиной ниточку грохота. Гоша Фокин сделал рот ковшиком и вылил туда коньяк.

— Но — ближе к делу! Рылся я как-то в архивах, искал материалы о погибших героях-сибиряках и нашел интересный очерк о твоём брате — Константине Ивановиче Бодрове. Прошел от Москвы до Берлина, в Берлине погиб. А в райвоенкомате мне сказали, что целая пачка писем брата у тебя сохранилась. Вот я и приехал взять эти письма — ценный для меня материал. Про тебя тоже, Егор Иванович, упомяну в книге.

Егор молчал. Он сидел, неловко отставив в сторону оструг березы, который заменял ему утерянную на войне ногу. Оструг некрасиво торчал из-под мятой пыльной штанины. Райвоенкомат предлагал Егору взять культурно сработанный протез, но Егор от него отказался. Не одобрял он замазывания и всякой подделки — нет ноги, ну и нет ее, пусть это видят все.

Огонь костра расшатывал сумрак. Чернели кусты тальника, и в них соловьем засвистывала варакушка.

Да, был брат Костя, Константин Иванович Бодров, был! С войны не вернулся, погиб в Берлине в последний день войны — так было... Последнее письмо Кости помечено седьмым числом. Май, год сорок пятый... И там есть строчка, в этом письме: «...а после войны тоже не-

легко нам будет; разная шваль, которая отиралась в обозах или делала себе самострелы, начнет трещать на всех перекрестках о героизме — настоящих солдат, работаю войны, будет тошнить от этого пустого трепя. А все равно надо будет работать, работать, поднимать хозяйство из военной разрухи. Веришь ли, брат Егорша, руки мои стосковались по лопате, которой мы сажали картошку на поле...»

Егор хотел сказать про это письмо брата, а еще от себя добавить: «Работать надо, Гоша! Работать для живых, живым пособлять».

А еще хотел добавить Егор, что, будь жив Костя, он не только своих писем, он бы тебе и руки не подал, ситцевый друг Гоша! Не любил он таких, кто отирался в хлебном обозе и лез в кусты.

Не умещалось все это в голове Егора: хохмит Гоша Фокин или говорит серьезно? Он мастер на всякие штучки-дрючки. Может, по-другому все обернется.

— Красный вечер, тихий! — только и нашел что сказать Егор.

А вечер и вправду выдался славный. Загорелась глубоким огнем река на крутом изгибе, катился эхом дремучих эпох лягушачий хор с дальней старицы, а в тальнике соловьем заливалась варакушка. Не хотелось в такой вечер сердиться, говорить обидные слова.

На том берегу слышался говор, застучали колеса телеги. Закричал тонкий девичий голос — доярки возвращались домой с летника.

Пришлось опять отчерпывать из прохудившейся барки воду и переправлять доярок.

Стелил себе Егор впотьмах. Бросил полушубок на досках парома, оставив гостям право ночевать на топчане в будке.

Но гости не торопились спать. Шофер Ваня наживлял рыболовную снасть в надежде поймать налима, а Гоша Фокин в раздумье и одиночестве гулял в отдалении. Фигурка его едва различалась на фоне ночной воды.

Егор, глядя в звездное небо, силился представить, о чем примерно думает Гоша Фокин и как он о себе понимает. Старость — она ведь дает человеку определенную прозорливость и даже позволяет угадывать желания и мысли того, кто пониже возрастом. Но про Го-

шу Фокина Егор ничего угадать не мог: вихрилась некая копоть, мга.

И тем приятнее было глядеть на чистые звезды. Удивительно действуют звезды: мыслям они придают размеры космические. Думается о бесконечности и величии жизни. Человек в ней лишь короткая искорка, падающая звездочка. Кто понимает это, тот и проживет легко, смело и чисто. Но не все умеют глядеть на звезды — вот в чем беда! Чуркина взять — так у того и глаза, и нос смотрят в землю.

Как ни странно, Гоша Фокин тоже думал о звездах и в том же примерно плане. Виделись ему звезды выражением громадности мироздания, чистоты и величия. Денеб в созвездии Лебедя, Мицар, Капелла, созвездие Рыбы. И Млечный Путь — вечная дорога Вселенной.

Подобно Архимеду или Джордано Бруно, Гоша Фокин вдруг сделал открытие: все сущее на земле, вплоть до самой ничтожной клеточки и молекулы, неразрывно связано с космосом. То есть это не было открытием в буквальном смысле — просто Гоша свел в голове для себя все ранее известное. Отсюда, вполне вероятно, существует связь между космосом и настроением человека. Даже простое созерцание звезд вызывает в мыслях высокий настрой. В толчее городских огней не видно звездного неба — не ведет ли это к искажению представлений о предначертаниях жизни? Моряки, астрономы, охотники никогда не страдали пороками скопидомства, трусости, лжи...

И текла Дыкырингра. Плывущий плот причудился в ее темных свивах. Быстрая, холодная Дыкырингра.

В поселке лесорубов сбили они с Мишей Куликовым плот, намерились проплыть реку до самого устья. Одолели опасные крутые прижимы, пролетели меж каменных щек, вода в которых неслась с грохотом курьерского поезда. Милостиво отнесся к ним порожистый пережат Мельница. И — кто бы мог подумать! — плот разнесло на щепу и бревнышки посреди тихого плеса, как говорится, «среди своих».

Снились по ночам липкие, потные сны: будто бы хватают за ноги тугие свивы течения, а рот и легкие заливают бетоном. «Дыкырингра — грозная река жизни», — пришло однажды в голову среди ночи.

Потом всегда так и думалось: грозная река жизни!

Все четыре ее компонента: движение, чистота, сила, смелость. Дыкырингра — жизнь, и он ее не смог одолеть.

Старику, видишь ли, нравится «У самовара я и моя Маша». С прохвостами и кикиморами воюет Гоша. А эти прохвосты и кикиморы научились носить вполне благопристойные маски и бормотать заклинания: «Наш человек не может быть...» И научились бегать по судам и высоким инстанциям. Звонки, разбирательства, нудные объяснения после каждого фельетона.

Хотя — если честно, под звездами! — ни один волосок не упал с его головы: мораль, закон и общественность, как пишут в газетах, на его стороне.

Но снились по ночам липкие сны, и он все как бы плыл и плыл на том плоту в ожидании, когда рубанет тросом под ноги. И был еще некто Бардоский, «отец областной мысли» (человек при золотых запонках и с золотым зубом во рту), добровольный отец-наставник. «Не будь вечным студентом», и родственное рокотание над крахмально сияющей скатертью.

Чисто блестили звезды, и текла Дыкырингра. А на болоте хрипло и сладостно стонали лягушки. Космические отголоски далеких-предалеких времен чудились в этих протяжных криках. Обломки дальнего детства выплывали с этими криками из далекого далека.

Детство! Не изученное психологами здоровое и правильное состояние души малого человека! Едва-едва взят в руки букварь, а эта малая душа мнит себя самым сильным, самым добрым и самым справедливым созданием на свете.

Так или примерно так думал под звездами Гоша Фокин: ночные думы, как музыка, их нельзя в точности передать простыми словами. Гоша не мог выдержать многогоречивого перезвона звезд и космических стонов болота — он упал лицом в траву и заплакал.

Но никто не узнал его слез и никогда не узнает. Утром Гоша Фокин вытряхнул из головы ночные нюни, поднялся опять веселым и остроумным. Попрыгал для бодрости, потряс бицепсами. Шофер Ваня разбежался и, подняв тучи брызг, кинулся в реку.

Гоша Фокин осторожно обмакивал в воду ладони и, натирая тело, взбодренно крикнул Егору, который вычерпывал ведром из барки:

— Бомбардир, отгадай загадку: почему рука руку

моет?— И тут же под собственный смех ответил:— Потому, что ногой это делать неудобно!

Наверное, это было смешно (молчаливый Ваня, и тот гыгыкнул), но Егор рассердился:

— Да растуды т-твою в канитель! Что ты заладил — Бомбардир? У меня имени нет, что ли? Нашел себе ровню!

Оскорбился Егор. Чужой человек выдавал все эти хохмы. Не тот ясноглазый, простой и понятный парнишка с плота, что спорил и горячился на этом же берегу пять лет назад, а чужой. На лице — сытая одутловатость, равнодушие. И волосы на голове Гоши Фокина вовсе не торчат бодрой пшеничной соломкой — откуда вчера Егор это взял? Они свисают на уши мягкой паклей.

— Я понимаю, Егор Иванович: ты из-за письма сердишься,— угадал настроение паромщика Гоша Фокин.— Честно тебе скажу: забыл я его в столе. Положил и забыл. Немудрено, я ведь решил не заниматься сатирой. Но нет безвыходных положений: там у нас парнишка один появился в отделе — обязательно ему передам твое письмо.

— Наплюй!— сказал Егор.— Что тебе, занятому человеку. Ты этот... инженер души.

— Да не инженер!— поскромничал Фокин.— Завхоз человеческих душ. Как в писании сказано: «Вот и еще один завхоз не вернулся на базу»,— сыпал Гоша островами из книг.

Утро было солнечное, росное. Цвет черемухи за ночь опал, и угол напротив Тихой не узнавался. Жаворонок тиликал в небе.

Егор развел огонек, повесил на крючок тагана чайник. Молча глядел на течение Дыкырингры. Шла большая и сложная работа в душе Егора. Человеком он себе вдруг привиделся всемогущим. С Егором такое бывает! Редко, но все же бывает.

Было с ним такое на высоте 275. Располагался на этой высоте взвод, немцы накрыли его артиллерийским огнем, а потом густыми толпами покатались к высоте автоматчики. Егор кричал слова команды — командир взвода был убит, — и шла тяжелая военная работа своим чередом: стучали пулеметы, кричали раненые и падали на дно окопа убитые. Взвод таял, подобно кому

снега на жарком солнце. И вместе с тем нарастала мощь в душе и теле Егора. Он сам припал к горячему металлу пулемета, стрелял и стрелял — некому, кроме него, было. Все полегли. В живых оставался один Егор, и собственная мощь ему казалась невероятной. Он был крепко уверен, что не пустит врагов на высоту 275. И когда все было кончено и подошла подмога, Егор все равно хватался посинелыми от бескровия руками за пулемет. Санитары едва-едва смогли его оторвать. Правая нога была перебита — он не помнил, когда и как это случилось.

Чайник на огне зафыркал, забренчал крышкой. Егор взял из мешочка щепоть заварки, сказал самому себе:

— Да соберу стариков... А пока Игнатыча позову, пусть посидит на пароме вместо меня.

— А мы тем временем в село съездим за письмами лейтенанта Кости, — среагировал Гоша Фокин.

— Какие письма? — очнулся Егор. — А-а, эти! Некогда мне, ребята. Нету писем. Паром надо ладить. Поеду в соседний колхоз — у них все есть. Попрошу досок, гвоздей, вару.

Если собрать стариков, рассуждал Егор, да материалу достать хорошего, то можно от рекостава до весны паром новый сладить. А пока хоть этот залатать как следует — пригнать трактора, вытянуть на берег на денек-другой (доярок и в лодке перевезут!) и залатать получше. Черт с ним, с Чуркиным, и со всей канителью!

— В Макеевку поеду, — сказал Егор, — это совсем в другую сторону. Некогда мне, ребята!

— А письма-то как, Бомбардир, — извините, — Егор Иванович? Я же специально ехал. И мне послезавтра в городе надо быть.

— А ты поезжай себе спокойно. Нету писем. И дела у меня, паря, дела. Как бы паром не пошел ко дну — до беды не долго, так-то!

— Ну, ладно, — наливаясь красным, сказал Гоша Фокин. — Вы хоть машину мою возьмите, а то как же вы?

Машину Егор взял. Но прежде чем ехать в Макеевку, привез с заимки Игнатыча — старика, заросшего седым волосом, Это чтобы было кому сидеть на паро-

мз. Гоша Фокин с удочкой в руках остался со стариком на берегу Дыкырингры, а машина запылила по направлению в соседний колхоз.

Но вышло так, что Егор там загулял: по стаканчику выпили они с кладовщиком, а потом Егор встретил своего хорошего друга — Илью Безуглова, тоже фронтовика-инвалида. С Ильей они всегда покупали одни сапоги на двоих — у Ильи не было левой ноги, у Егора — правой. У них даже шутка была такая: «Ну, что: сообразим на двоих?» И от этой немудрящей шутки возникало хорошее настроение.

Это они про сапоги так говорили. А сейчас два друга пошли в магазин и сообразили бутылку. Шофер видит, что не дожидаться, — сел и уехал.

— Я спокою, грит, захотел, манны небесной! — мотал головой пьяненький Егор, рассказывая другу про Гошу Фокина. — Зубатым-то, грит, не густо сыплется манна, она, грит, тем валит, кто дурачком умеет прикинуться. А я ему грю: сука ты подколодная! Знаю, на какую кочку ты метишь! Я тебя, грю, насквозь вижу...

Но это была неправда: такого резкого разговора у него с Гошей не было. И «насквозь» тоже не было. Будто бы все правильно понималось, но и сомнение тоже было: может быть, образованным людям положено поступать и жить по-другому?

У Ильи Безуглова позвякивали на пиджаке медали и мерцала рубиновая эмаль ордена. Медалей Егор не носил, а ордена у него не было. Егору рассказывали, что за бой на высоте 275 он достоин самой высокой награды, но про бой тот забыли или где-то в дороге потерялись наградные бумаги, а сам Егор стеснялся напоминать да и считал это не особенно важным.

— Не понимаю я этого! — сказал Егор.

— Не горюй! — хлопнул его по плечу Илья Безуглов и предложил еще раз сходить до магазина.

Вернулся Егор к парому на другой день под вечер, привез от соседей на попутной машине вару, гвоздей, пакли. И досок немного выпросил — паромом и соседи изредка пользуются, на это и бил Егор, когда выпрашивал материал.

Машины Гоши Фокина возле будки не было — дремал на пароме диковолосый старик Игнатыч с удочкой в руках.

Егор простукал деревянной ногой по расшатанным доскам палубы, хотел сесть на лавку, но уперся глазами в надпись на балясине: «Кто мелко плавает, на мель не сядет. Миша с Гошей, ха-ха!»

Возле воротка лежал топор. Егор потянулся к нему, чтобы стесать эту дурацкую надпись, но усмехнулся и сплюнул: не стоит труда! Настроение у него было хорошее. Он сумеет подойти к старикам, и по рекоставу они все вместе возьмутся делать новый паром! Запахнет на берегу свежими стружками, варом, застучат молотки. Илья Безуглов первым приедет. И к остальным он найдет слова-ключи.

Да, это будет праздник: соберутся на берегу Дыкырингры поработать не ради денег, а, как говорят, для души.

Молодой силой наливался Егор от этих дум.

А в долину опять натек густой летний вечер, и был он красно-синим. Несла свои беспокойные гляцевитые свивы Дыкырингра — веселая и грозная река жизни. И пел в тальнике варакушка-соловей, негромкий северный соловей.

И странное дело: Егору казалось, что про брата Костю рассказывает ему варакушка.

## Закон предков

Белизна ночной пороши раздражала глаза. Звери не оставили на снегу ни одного следа. Быстрым коротким валом белка прошла на восход солнца. В те немногие дни Чиктыкон и Аракча приносили на табор по тридцать белок. Бывало и больше. Удача исчезла так же быстро, как и пришла. За последние два дня охотники не сделали ни одного выстрела.

Собаки злые от голода, облаяли медвежью берлогу, но Чиктыкон избил собак: нельзя тревожить амаку! Если амаку сам пожелает драться — тогда другое дело. А так... Чиктыкон долго шептал, стоя под деревом, — просил у амаки прощения за своих злых и глупых собак.

Но амака не внял просьбе. Видать шибко обиделся: с наступлением сумерек амака разворочал берлогу, ушел бродяжничать. Чиктыкон и Аракча тоже покинули худое место. В поисках удачи они ушли за хребет, остановились в ключе Ленгамо. Полусгнившая избушка на Ленгамо была такой низкой, что охотники вползали в нее на четвереньках. Горький дым открытого очага выедал глаза.

Аракча нашел одинокий след соболя. Зверек был матерый и хитрый — не давался ни собакам, ни людям. С немалым трудом охотники взяли на Ленгамо семь белок, несколько горностаев, одного колонка. К концу недели кончились сухари. Пили густой кипяток, заправленный чагой. Морщинистое лицо Чиктыкона стало похожим на связку старой ременной сбруи. Аракча — молодой и толстый, ему что? Жирный, как тот амака в берлоге. Лет пять сидел Аракча в теплой конторе сель-

по, потом пересел на вездеход. В кабине вездехода тоже тепло и мягко.

— Хык! — сплюнул Чиктыкон горечь дыма. — Соболь не надо, белку надо. Не хочу Парчену добывать соболей. Парчен соболей тасует. Вот так...

Чиктыкон сделал руками, будто у него в руках были карты, — показал, как приемщик пушнины Парчен тасует соболями шкурки.

— Белку надо. На белку цена твердый. На соболях цена все равно что резина — тянется в обе стороны.

Аракча расправил на палках торбаза для просушки. В ответ на слова Чиктыкона сказал, что лично его Парчен никогда не обманывал. Даже наоборот: никудышного соболя проставлял за черного, по тройной цене.

— Хык! — выдохнул Чиктыкон. — Я же тебе говорю: тасует Парчен соболей! Ты спирт пьешь с Парченом. Твой Парчен — вор!

Обиженный Аракча молча улегся лицом к стене, минут через пять захрапел.

— В старину убивали воров, — распаляясь, бормотал Чиктыкон, — убивали всякого, уличенного в трусости или обмане. Закон предков — золотой закон! Зато и славились эвенки своей честностью от моря до моря! Да! Так...

Старик вспомнил, что было с Вокчем, когда тот взял из ловушки чужого соболя. Вокч получил пулю в затылок. Никто не пошел подобрать Вокча, даже родня. Так он и остался лежать возле чужой ловушки. Нечестный человек — шабэ, грязь. Кому нужна грязь?

Уснуть Чиктыкон не мог. От недоедания и усталости гудели ноги, и мысли его вернулись к Парчену. Дело с Вокчем было лет тридцать назад, если не больше. В тайге все видно, следы все скажут. В конторе чего увидишь? Тасует Парчен соболей, охотники чувствуют, а никто не видел. Раньше Парчен в сельпо работал, растрата вышла. Увозили его в чужие края на два года.

Чиктыкон ударил напарника кулаком в бок, чтобы тот перестал храпеть. Вспомнил: Аракча работал в сельпо с Парченом. Может, и он тасовал бумажки? Но про Аракчу люди худого не говорят. Аракча — мастер на все руки. Тракторист, шофер, счетовод, да и охотник удалый. К водке равнодушен, дом богатый и теплый, жена красавица — звонкоголосая Джальгурик, жена

Аракчи, кстати, племянница Чиктыкона. Дяде тоже кое-что перепадает от стараний Аракчи: всегда подтянет на тракторе к дому Чиктыкона пару сухих лесин на дрова. Хотя на еду и на деньги скупой Аракча, жадный. Что правда, то правда! Вот и амаку боится — никогда не видел близко живого амаку, не дрался с ним.

Очередной день не принес охотникам ничего хорошего. Белка словно никогда не водилась в этих местах. Аракча пришел с обхода сумрачный, злой.

— Это из-за твоих вонючих собак пропала удача! — укорил старика Аракча. — Амака смотрит за нами. Возле горы Илгын следы видел. Убить только твоих дурных собак!

В узких глазах Чиктыкона катнулся огонь раздражения. Он с присвистом швыркал, тянул кипяток из мятой железной кружки. В знак извинения Аракча сказал, что очень худой год выдался. Неурожайный, трудный. И что Аракча вообще бросит охоту — пойдет трактористом работать, к геологам уедет.

— Амака большой ходит, здоровый! — прибавил к своей длинной тираде Аракча.

Чиктыкон молча подбросил в очаг дров. Вчера Чиктыкон и сам видел медвежьи следы — действительно, очень большой амака!

Но это, похоже, другой зверь, не берложник. Хомоты — шатун. «Надо покинуть Ленгамо, искать новое место», — подумал про себя Чиктыкон, но вслух усмехнулся в надежде развеселить напарника:

— Амака тебя догоняет. Ты — жирный!

Не дожидаясь рассвета, в сутеме раннего утра, они вернули пожитки. Уйти не успели: собаки Аракчи загнали в каменную россыпь соболя.

Весь день околачивался Аракча на камнях, разжег огонь, стараясь выкурить соболя из каменного лабиринта дымом. Чиктыкон повесил свою понягу с добром на сук березы, кликнул собак и тоже пошел кружить в поисках зверя.

Тайга Ленгамо играла с охотниками. День, который они наметили для ухода, принес двойной успех. Аракча добыл заветного соболя. Вечером, сидя в зимовье, он поглаживал шелковистый мех зверька. Касание соболевих остинков кожи щек напоминало дыхание женщины. На ужин Аракча варил в котелке мох и чагу.

Чиктыкон пришел поздно, но тоже с большой удачей! Молчаливый и важный, швырнул на доски нар почку сохатого, белую ст сладкого жира.

— Ешь! — сказал Чиктыкон. — Там мясо! Много мяса...

Аракча понял: за дверью лежит свежее мясо. Чиктыкон добыл сохатого. Вкусная почка пахла кедровой хвоей. Аракча ел сырую почку, чавкал, размазывая по щекам жир. Радость была большой: удача, похоже, снова вернулась! Амака, похоже, больше не сердится, добрым стал, простил их за то, что они его потревожили. Не надо теперь идти за хребет к лабазу — еда есть, много хорошей еды! Можно даже пойти за другой хребет, на Иттыр — соболь там, говорят, хорошо водится.

Охотники, довольные жизнью, ели мясо, пили крепкий бульон. Аракча, не жуя, жадно глотал, выхватывал из котла жирные куски. В эту ночь они впервые вспомнили про транзистор — вынули из мешка радиоприемник, слушали музыку. Дым очага не казался сегодня злым и горьким. Аракча снял с гвоздя карабин, разобрал его и стал чистить. Вынул из магазина маслянистые желтые патроны и, возможно, забыл их на досках нар. Они могли затеряться в ворохе пихтовых лап, служивших постелью. Хотя какой охотник забудет патроны? Так или иначе, когда явилась беда, карабин Аракчи не выстрелил.

Утомленный погоней и вконец обессиливший Чиктыкон принес свеженины совсем немного, на два котла. Освежеванного и прикрытого шкурой сохатого он оставил на месте. Даже разделать не мог. Решил, что за ночь мороз не успеет заморозить тушу.

Утром охотники пошли по льду Ленгамо, обогнули ерниковую чашу и сразу увидели: огромный черный медведь рвет тушу сохатого. Кухта упала с сучьев лиственниц — так страшно взревел амака при виде людей. Как бы с тыла вылетели на зверя собаки, петлявшие по лесу.

У Чиктыкона висел на поясе нож. Ружье он не взял, чтобы легче было таскать куски сохатины. Осторожный Аракча нес на плече карабин, который он так хорошо вычистил вечером.

Егор и Чуна, лайки Чиктыкона, хватали зверя за гачи. Шерсть черного амаки была густой и длинной.

И он был огромный — собак отряхивал с себя, как мышей. Когда он встал на дыбы, Чиктыкону почудилось: сажа безлунной ночи закрыла небо! На самом деле зверь был не столь уж громаден, но так Чиктыкону почудилось.

— Мы тебя не трогаем, иди себе, амикан, добрый дедушка! — без испуга, но суеверно бормотал Чиктыкон, выхватывая нож. — Это наш сохатый, мы его до были.

Древний мудрый закон гласит: «Увидишь опасность — иди вперед! Увидишь злого амаку — иди вперед!» Бежать или отступать нельзя — смерть. Бой начался. Одна из собак, издавая визг, корчилась в снегу с перебитым хребтом. С ножом в руках Чиктыкон прыгнул вперед и вбок — за ствол дерева. Крикнул — теперь уже громко, с рычанием. Медведь вздыбился. Смердно дыхнул где-то вверху, над головой Чиктыкона.

— Стреляй! — закричал Чиктыкон Аракче, удивляясь, что до сих пор не раздалось выстрела.

Ответом был затихающий скрип снега под торбазами. Но Чиктыкон не услышал этого скрипа — зверь приступил к делу: жадно обнимал лиственницу, ловил Чиктыкона, стараясь приплюснуть голову охотника к стволу мерзлого дерева. Было тихо. Никто не стрелял. Амака злился, топчась вокруг дерева. На единственную собаку он не обращал внимания. Казалось, что человек и зверь соревнуются в странном танце.

Раненая собака давно перестала барахтаться и хрипеть. Черной шерсти амаки Чиктыкон не видел, но ясно понял: ждать помощи не приходится! Силы его слабели. Был в запасе трюк — старый, испытанный. Победный для сильного и веселого, опасный для слабого.

Чиктыкон решился: оттолкнувшись плечом от дерева, прыгнул на чистое место. Медведь удовлетворенно рыкнул, гребанув лапой воздух. Сжимаясь опасной пружиной, эвенк бросился в ноги амаки. Руками, которые крепко сжимали нож, массой всего тела Чиктыкон сделал резкое движение снизу вверх. Удар получился правильный, крепкий. Лезвие прошло от паха до самых ребер. Чиктыкона мягко толкнуло в ноги грудой синих кишок. Правая рука охотника скользнула в брюхо зверя по самый локоть — к диафрагме, к сердцу. С длинным визгливым ревом вылетела из амаки жизнь.

Падая, он задавил вторую собаку. Чиктыкон отбросило спиной к дереву. Мельтешили сойки, кружил и каргал над местом побоища ворон.

Очнувшись, Чиктыкон шевельнул пальцами рук и ног. Обрадовался сквозь боль: живой! Но с лицом было что-то неладно — текла кровь, глаза придавила ночь. Пальцами Чиктыкон разлепил веки одного глаза, на месте второго нащупал яму. Вытек глаз — правый! Напоследок гребанул амака кривым когтем...

Без шапки, в рваной парке, кривой и залитый кровью пришел Чиктыкон к зимовью. Показалось: человек мелькнул в кустах.

— Алаткел! Постой! — слабо крикнул старик.

Морщась от острой боли, Чиктыкон развел в очаге огонь. Ночь, день и еще ночь провел он у огня в забытии, в тумане. Боль во лбу перемежалась с вспышками злобы на бежавшего Аракчу. Ибдян — стыд жег беглеца! Даже соболя с перепугу забыл снять с пялки. Не человек — грязь, мусор. «Убить, догнать и убить!» — порывался старик.

С уходом усталости и боли Чиктыкон успокоился. «Это и хорошо, — расслабленно сам себе усмехнулся старик. — Аракча дал мне один на один подраться с амакой. На последней охоте. Теперь умру. Уйду в Кодар, там умру. Старый. Глаза нет. Вытек. Правый глаз! Какой теперь Чиктыкон охотник? Большой был амака, огромный!» В начале сезона еще Чиктыкон чувствовал: это его последний выход в белкованье. Старый охотник и друг Чохтоо остался на стойбище в этот сезон, признался, что он не ходок в тайгу: ревматизм тянет старые жили! А ведь Чохтоо моложе. Чиктыкон подумал с некоторой гордостью, что умрет в тайге, на охоте. На удачной охоте! Разве это не удача — такой огромный амака, и притом амака сам выразил желание драться. Все нормально, все хорошо...

За стенкой зимовья свистел ветер. Струи ветра проникали сквозь щель внутри избушки. Покачивался хвост соболя на пялке, вбитой в паз между бревнами. Чиктыкон вяло подумал, что соболев большой, темный. Дорогой соболев. Таких Парчен меняет в бумагах на дешевых, рыженьких. Обманывает робких охотников. Парчен — вор, Парчен нарушает закон предков.

Чиктыкон вдруг вскочил с холодной лежанки. Новая

мысль крутнулась в его голове: разве Аракча не нарушил закон предков?

Предательство и трусость хуже, чем воровство! За кражу могли только выгнать из стойбища, за трусость убивали на месте. Вор и трус — мусор. «Очищай чум от мусора,— сказано древними,— а род от дурных людей». Давно такого не было в роду Кочениль, шибко давно! Вокч взял соболя из чужой ловушки лет тридцать назад, а человек, бросивший в тайге товарища из страха перед амакой, едва помнился. Кажется, его звали Товга. Старики стариков так говорили. Тогда еще и ружей не было, стреляли из луков. Трус Товга крепко поймал стрелу сутулой спиной! Тень его долго учила людей рода Кочениль быть честными, смелыми. Теперь это забыли.

Из-под нар Чиктыкон выгреб ногой кучу смоляной щепы, на камни очага положил дров. Руки у него совершенно окоченели. Огонь Чиктыкон добыл, держа спичечный коробок в зубах, а спичку зажав двумя кулаками. Пальцы у него еще долго не гнулись. Не гнулись ноги, цепенела спина, но умирать Чиктыкон раздумал. Не умрет до тех пор, пока не заглянет в глаза Аракчи, думал про себя Чиктыкон. От спекшейся крови лицо его представляло сплошную коросту. Он согрел на костре воду, умылся. Раны Чиктыкон заклеил кедровой смолой.

Еды было вдоволь. Он сходил к месту побоища, нарубил кусков сохатины, нарезал с туши амаки сала. У дверей избушки постоял в раздумье. Меж стволов лиственниц беспокойно синели следы Аракчи. Они шли к перевалу. Снег цветисто искрился, над сопками проливалась парадная голубизна неба. События этого дня на миг показались Чиктыкону кошмарным сном. Вот-вот выйдет из-за деревьев краснощекий Аракча, и они, поев сохатины, мирно отправятся белковать.

Но боль в опустевшем глазу напомнила, что все это не сон. Аракча сбежал! Чиктыкон даже видел, как он воровато метнулся в чашу. Видел, когда, залитый кровью, шагал к избушке. Следы на снегу говорили то же самое: добежал Аракча до зимовья, вылетел обратно, долго топтался на месте — слушал, как затихает шум драки. Побежал к перевалу, когда увидел, что Чиктыкон поднялся, идет...

Да, это было так!

Состояние организма охотника требовало, чтобы он отдохнул на хорошей еде до конца недели. Но Чиктыкон кое-как скоротал в зимовье эту ночь. Неведомо откуда нахлынувшие силы толкали его вперед, догнать Аракчу.

Домой, в Талакан, Чиктыкон явился на третий день. Как собака, в хвост которой вцепился злобный хорек, закружилась по стойбищу весть: Аракча — трус, он бросил старика на съедение амаки! А говорил: год худой, прекратил охоту, потому что нет белки, пойдет трактористом к геологам, там много платят. Но Чиктыкон другое сказал. Кожа на лбу Чиктыкона разодрана лапой амаки, глаз вытек — правый глаз!

Стали вспоминать: какой такой жил в Талакане Аракча? Худое человек сделает — много за ним худого выплывет. Рассеянные пылинки слетятся, склеются в большой ком. Работал в сельпо Аракча, ящики с маслом прятал. У эвенков рода Кочениль добывший мясо дает его всем, у кого нет в доме мяса. Аракча не давал — прятал сохатого, ночью привозил в дом. С Парченом водил шуры-муры, дешевых рыженьких соболей менял у него на дорогих, темных — охотников через Парчена обкрадывал. Толстыми цветными коврами обколотил стены своего дома. Купцом живет. Почему так живет? Разве новые законы разрешают нечестным людям благоденствовать? Вот и в древних законах эвенков сказано то же самое: «Выбрасывайте из чума гнилое мясо, из рода — худых людей!»

Аракча куда-то пропал, ушел из Талакана. Друг Чохтоо просил Чиктыкона не торопиться. На Ленгамо послали парня с оленями. Он привез мясо сохатого и амаки.

Вечером Чиктыкон пришел в чум к Чохтоо. У всех дома из бревен крепких, как железо, лиственниц, Чохтоо да еще дед Василий со своей старухой остались в чумах. Чохтоо говорит, что от деревянных стен у него спина болит. В чум пришли старики Дуко, Василий, Баяки, Мукто, пришел с шаманским барабаном в руках Никанча.

Древний красный огонь горел под казаном с мясом сохатого. Кривой Чиктыкон сидел на корточках возле огня. Никто не приставал к нему с расспросами. В темных ремнях морщин Чиктыкона вялым огнем светился

одиноким глаз. Старик в раздумье молча дымили трубами.

Но вот Чохтоо выложил в медный таз чукин — недоваренное мясо. Темнело круглое сердце амаки. Чиктыкон подхватил горячее, дымящееся медвежье сердце, забормотал:

— Добрый амака, черный амака! Ты умный, большой, сильный. Я тебя не трогал, я тебя не хотел убивать, ты сам начал! Ты не думай, не думай, амака, я не хотел. Мы тебя любим, амака! Аракча тебя не любит, он плохой, но таких больше нет среди нас, не будет!

Засверкали ножи. Каждый отрезал себе кусок от сердца амаки. В железные кружки из матовой от изморози бутылки разлили спирт — каждому по глотку. И вдруг заговорили все разом. Чиктыкон — удалый охотник, хорошо поохотился! Большой амака, сохатый большой, жирный. Много мяса, вкусно! Аракча — негодный человек, трус. Он сбежал. В поселок Геологический.

Но от позора куда сбежишь? Пуля его догонит. В роду Кочениль не было таких и не будет! Так велит закон предков...

— Мы тебе дадим белых оленей! — крикнул Чохтоо. — Белых оленей запрежем в нарту догнать Аракчу!

Красные блики плясали по стенам древнего чума. Ворочался и кружился дым под конусом крыши. Вспомнили Товгу. Жил да был давным-давно трусливый человек Товга. Жирной дрожащей спиной Товга поймал стрелу. Имя его выбросили, как мусор. Но был другой человек — охотник Ятэкэ, богатырь-богатырище. Всех умнее и всех сильнее был тот Ятэкэ — прародитель рода. «Убирайте с ножей своих ржавчину, из рода — худых людей!» — завещал Ятэкэ.

Хрипуче гудел барабан под руками Никанчи. Вдохновенно светились морщинистые лица. Старик кружился вокруг огня, били ладонями в такт песне, славившей закон предков, закон чести, летели древние слова, сливаясь с дымом:

Алтан-де, алтан, акен, дю,  
Алтан-де, алтан-дю!

На восходе солнца Чиктыкон пришел в дом Аракчи, который жил теперь в поселке Геологический. Дом Арак-

чи — «полная чаша», как говорят лючи (русские). Цветастые дорогие ковры на стенах, на полу, на диване. Лакированные ящики до самого потолка. Машины для пыли, музыки, стирки. Разрисованные тарелки, чашки в зеркальном шкафу. «Молодежь теперь больше заботится о том, чтобы хорошо было снаружи, а не о том, что внутри!» — с раздражением глянул Чиктыкон в лицо Джальгурик.

Краска отхлынула от ее круглых щек. Знает ли Джальгурик о бесповоротном решении стариков? Чиктыкон видел: знает! Ребятишки Аракчи спали на широкой кровати под красивым шелковым одеялом. Губы Джальгурик были плотно сжаты, что больше всего понравилось старику. Он ждал просьб, криков, слез. Кричать на мужчину — что может быть унижительней и позорней для эвенкийской женщины? Бежит в жилах Джальгурик чистая кровь рода!

Чиктыкон бросил на стол белок и соболей. Достал тряпичный сверток, который лежал глубоко за пазухой парки. Сверток ударился о крышку стола камнем. В тряпице лежал золотой самородок. Чиктыкон нашел его в тайге давно, в молодости — лет сорок валяется в сундуке тяжелый блестящий камень.

— Я могу не вернуться, — хрипло сказал старик, — Аракчи нету, не будет. Ребятишек люди прокормят. Помогут!

Джальгурик молча кивнула, сглотнув комок.

День был белый и плоский, как морозный рисунок на оконном стекле.

Одиноким глазом Чиктыкона узнавал и не узнавал знакомые сопки и берега. У сопки Хор старик затормозил нарту — проститься, поблагодарить тени предков за счастливое одарение жизнью. От холода пар дыхания спекался в мелкие колющие иглы, издававшие в воздухе слабый звон.

И снова замелькали олени копыта, взрывая снег. Пел бурбулен — колокольчик на шее одного из оленей. К доскам нарти одноглазый охотник прижимал коленом малокалиберную винтовку. По льду реки Талакан олени несли Чиктыкона в поселок Геологический.

...Дым взрыва тянулся по склону большой горы. Лязгало железо, шумели моторы.

— Хык! — со свистом махая хореем, погнал Чик-

тыкон оленей.— Быстро, скорей! Хорча-ми, хорча-ми!

Возбуждая и зля себя, Чиктыкон закричал в экстазе непонятные, но крепкие, как показалось ему, слова шамана:

— Кидэлдэлэмэр, кидэлдэмэр, кидэлдэр...

Люди силой железа и силой взрывов вгрызались в каменное брюхо горы. Два черных бульдозера сновали взад и вперед, ровняя отвал песка и камней. Джальгурик сказала, что Аракча работает на таком большом тракторе. И правда: за стеклом одной из машин Чиктыкон увидел круглое лицо Аракчи. Будто над зимовьем, над машиной торчала труба, а из трубы шел дым — синий, как от березовых дров. Аракча дергал за рычаги, и машина железной блестящей стеной толкала груды щебня. С отвала катились вниз глыбы камней. Злость Чиктыкона улетучивалась, как тот синий дым. «Такая машина гору сроет!» — с восторгом подумал Чиктыкон, забывая про боль в глазу. Трактор и вездеходы старик видел сколько раз, а такую машину никогда раньше не видел. Чиктыкон даже помахал рукой Аракче, чтобы привлечь его внимание. Все-таки головастый этот Аракча, хотя и трус! Чиктыкон еще раз помахал рукой односельчанину и крикнул приветствие. Злость у Чиктыкона совсем прошла. Но Аракча даже не поглядел на него — так был увлечен работой. А может, притворялся, что не видит: страх, поди, приковал Аракчу к сиденью машины? Белые олени — упряжка мести — стояли на поляне, далеко видно.

Чиктыкону хотелось что-нибудь сказать Аракче. Например, что он сильный мужчина, хотя и трус. Закон предков велит убить, но Чиктыкон не убьет его, не будет. Жалкой палкой кажется в руках малокалиберная винтовка, когда кругом столько больших и сильных машин. Пусть Аракча живет, но пусть только прогонит свой страх, навсегда прогонит! Закон предков давал право на жизнь только смелым и честным. Так было у эвенков всегда. Трудолюбие, смелость и честь — три столба, которые держат на себе крышу жизни.

Задрав вверх голову, Чиктыкон побежал к отвалу, чтобы сказать Аракче все, что он думает. С новой силой заныло в пустой глазнице. В запальчивости Чиктыкон стал карабкаться на отвал по желтой осыпи. Но тут большой угластый валун ударил его по ногам, Чик-

тыкон упал, посыпались сверху камни, щебень — как бы собираясь его скорее похоронить.

Аракча остановил бульдозер. К Чиктыкону бежали люди. Зачем-то дудел в железный сигнальный рожок взрывник.

Чиктыкона уложили на снег, грязный от пыли. Чей-то нож резал кожу унта — разбухшую, мокрую. Побежали к рации — вызывать вертолет. Чиктыкон пришел в себя на короткое время, заговорил сбивчиво, торопливо:

— Амиликонди, предки... Закон их. Короткий, простой. Закон-то судьи мягкий, длинный — волосы аси, женщины. Парчен вот... Парчена судья посылал далеко. Ково теперь? Вернулся, опять ворует. Хитрым стал. Совсем хитрый, соболей на базе тасует. Хитрость гноит людей, худо делает, вовсе худо! Все равно что бома — чу-ма. Ага!

Одинокий глаз Чиктыкона звал понять, горел, но все подумали, что это бред. Старика переложили на носилки. Аракча, побелевший и сгорбленный, исподлобья смотрел на происходящее.

За лесом, над горами нарастал гул. Аракче показалось, что летит вертолет. Но это с отрогов хребта Кодар катилась в низину пурга.

## Царь Васишка

На току получилась драка: двое пьяных двинули в нос Ивана Бутакова, тоже пьяного, и тот мешком отрубей упал в крапиву. Иван выполз на чистое место и там начал выть и кататься. Те, двое, заорали песню и пошли себе вдоль деревни.

Ивана увидел скотник Василий Утин. Увидел и подошел. Он ходил в соседнее село Афонькино, в магазин — купил себе новый костюм, который и нес, держа за веревочку. Бумаги в магазине не оказалось, продавщица обвязала костюм одной пеньковой веревочкой.

Утин положил костюм прямо в пыль. Он отер кровь и слюни с лица Ивана, попытался поставить на ноги. Но тот сильно толкнул его — с рубахи Утина посыпались белые пуговики.

— Уйди, гнида! — выл и матерился Иван. — Р-раздавлю!

Лицо его, шея и руки вспухли и покраснели от крапивных ожогов.

Когда Иван перестал кривиться и выть, немного поостыл, Утин кое-как довел его до дому. А потом вспомнил про обновку и вернулся на «место происшествия».

Сверток был весь растрепан. Рядом стоял чей-то пестрый телок и смачно жевал рукав пиджака. В сердцах Утин так хлопнул телка ладонью по боку, что у того брюхо гукнуло наподобие барабана. Утин первый раз в жизни собирался в столицу, новый костюм купил по этому случаю.

На другой день поутру Утин — жилистый и низенький — щеголял по деревне в новом костюме, «обкатывал обновку», как он выразился. Жена его, тихая Мотря, замыла рукав, отутюжила, «придала видимость».

За деревней над свежей зеленью луга плыли легкие облака, от тополевых листьев густо пахло весенней смолкой.

Иван Бутаков встретил Утина возле конторы правления и пошел ему навстречу с улыбкой закадычного друга. Но почему-то сразу обмяк, нахмурился. Не то брезгливо, не то с иронией — двумя пальцами — дотронулся до рукава утинской обновы.

— В Москву, говорят, собираешься? На ВДНХ отрядился?

— Придется ехать, — скромно сказал Василий Утин. — Куда денешься? Посылают!

На самом деле Василий очень гордился тем, что числится хорошим работником и у него лучший в районе нагульный гурт.

— Кожуру купил модную, — Бутаков опять тронул рукой костюм, синий в красную клетку. — Не удавился-таки, развязал чулок?

— Могу себе позволить, — сказал Утин, — хотя бы раз в жизни. А деньги — что? Сор!

От искренности чувств Василий Утин слегка отвернулся и сплюнул. Бутаков опять подобрел глазами и даже улыбнулся. Опухоль от крапивных ожогов с лица Ивана сошла, но оно было дряблым и все в мелких пятнах, будто его наклевали куры.

— Это ты меня вчера из лопухов вытянул? — хрипловато, по-дружески сказал Иван. — Ну, и надрюзгались мы вчера с Кузьмой и Митькой! Навес на току делали, обмывали.

— Голова, поди, шибко болит?

— Болит, — признался Бутаков, — ты мне дай пятерку. Полечусь за твоё здоровье.

— Да брось ты! — так же доверительно и дружески сказал Василий Утин. — Тебя не тянет блевать?

— Чего это?

— Меня, говорю, от одного запаха блевать тянет. Какая в ней радость-то? Ты эвон глянь, благодать какая в природе: травка, коровки ходят, облака беленькие, листики на тополях пахучие распустились.

— Жмот раз, так и сказал бы прямо! — рассердился Иван. — «Радость какая!» Я не для радости пью. Ганька, сынок мой желанный, у меня вот где сидит!

Иван Бутаков стукнул себя кулаком в грудь, а Василий Утин повернулся и пошел. Пьяницы — они все так: причину ищут. Вот уж приятно тому же Ганьке видеть отца с красными, обалделыми глазами! И что это с людьми делается? Неделями Утин живет в пастушьей избушке в Тысячном — издали деревня кажется красивой, заманчивой.

— Дикуша! Жмот! — зло кричит вслед Утину Иван Бутаков. — Царь Васишка! Иуда!

Утин не обернулся, не осерчал, не покрутил головой и сморщил лицо в ухмылку: глупый народ и прозвище подцепил глупое. Царь Васишка! Ну, правильно, любит он читать про царей. Так за это и прозвище сразу цеплять?

Про царей у Василия Утина целая стопа книжек и разных вырезок. Выпрашивает у библиотекаря списанные комплекты журналов, вроде «Вопросы истории» и «Знание — сила», и там находит что-нибудь забавное про царское житье-бытье. Василий копит вырезки и складывает их в самодельный чемодан из фанеры. Шелит мозгами Василий, думает. Силится понять через царей: откуда есть, пошла на земле грязь и зависть, всякая людская ложь и паскудство? По фактам выходит — от них пошла, от царей! Даже и во всех иностранных книгах об этом сказано: соврать, подослать наушника, убить брата царю все равно, что раз плюнуть. Своих детей, и то не жалели — подсыпали им в чашку яду, чтобы только те не потеснили их, когда подрастут.

Вроде бы уж царь, живет — лучше некуда, и вот на тебе — такое паскудство! Царские темные дела Василий Утин выписывал в тетрадку, сравнивал и приходил к выводу: это они от страха так делали. От страха и от обжорства. Все смотрят на него завидующими глазами, а он один среди всех, не знает, кому верить, а кого опасаться — страх от этого. Ну, и тоже отъедались они на даровых харчах — будь здоров! А лишние питье и обжорство кровь мутит — кто об этом не знает? Даже курица жиреет и начинает дуреть, когда глупая хозяйка сыплет ей пшено или рожь прорвой. Или вот корову взять, которая забрела в тучные овсы, — рассуждал Василий Утин.

А один раз он сказал мужикам на покосе, когда те пережидали жару в холодке:

— Был на земле всего один справедливый и добрый царь. Народ — кушаны жили в давнюю древность. Был у них царем пастух. Такой же простой мужик, как мы с вами. Звали того царя Васишкой.

Мужики от хохота в траву попадали:

— Ха-ха-ха, царь Васишка!

— Ну, такие имена у них были: Хавишка, Канишка, Васишка, — пробовал объяснить Василий.

Но с того дня прилепилось к Василию Утину — «царь Васишка». Даже как-то подходило к нему это прозвище: низенький, карагазистый, с морщинистым синеглазым лицом.

— Свиньи огород весь посрыли, — сказала тихая Мотря, когда Василий Утин пришел домой, — улей своротили.

— Откуда они взялись, свиньи-то? — удивился Василий.

Огород Утиных был аккуратно и крепко загорожен, а двух своих кабанов Василий держал в надежном засадке.

— Да ить откуда? Ребятишки балуют, доску выдрали из заплота. Ганька Бутаков с Мишкой Зыковым вчера возле городьбы крутились.

— Это они нарочно пакостят! — рассердился Василий. — У самих во дворе трын-трава, и чужой ухоженный двор видеть спокойно не могут. Отец — пьяница, все время злой ходит, и сын растет такой же варнак! Счас только видел Бутакова Ивана: ему опохмелиться нечем. Дай пять рублей, и все! Чуть в драку не лезет.

Лицо у Мотри задумчиво-тихое, она никогда не сердится. Будто тоскует молча и все время думает. Может, о детях тоскует — детей у Мотри с Василием не было, хотя и прожили они вместе двадцать с лишним лет.

— Не от добра, наверное, пьет Иван-то Бутаков, — сказала Мотря. — В нутро глянуть — у кого болячка, а у кого рубец от беды. А никто в нутро-то не смотрит. За Ганьку Иван-то переживает. На гармони играть Ганька шибко способный. Учить его Иван повез в город, а там не взяли. Он и пьет теперь.

Василий Утин и сам помнит эту историю. Чуть ли

не с пеленок Ганька начал терзать гармошку: Иван мехи тянет, а Ганька на кнопки давит. В пять лет уже во сне «цыганочку» наяривал. В концертах участвовал вместе со взрослыми. Откуда что и бралось: услышит хорошую песню по радио, и тут же сидит подбирает ее на гармошке. Ну, Иван Бутаков и решил, что быть ему в большом почете и славе через Ганьку: учить его в областной город повез, в музыкальную школу. А там говорят: школа-то, мол, для местных, для детей горожан, это как будто добавок к обычной школе. Вот, мол, колхоз ваш разбогатеет, у себя в деревне постройте детскую музыкальную школу. Иван водил Ганьку за руку по кабинетам разных начальников — ему там то же самое говорят: нельзя! Иван злой вернулся — напился, кричал: они, дескать, пузаны, только о своих думают, а до народных талантов им дела нет — навоз в коровнике вороши или в колхозной агитке по станам пиликай — на большее не надейся!

С тех пор и пошел пить.

— Говорить все можно, — возразил Мотре Василий, — но я их все равно не пойму, пьяниц-то. Обида у них! Вот тракторист Митька наглотался молочка от бешеной коровки да бабке Михайловской угол дома разворотил трактором. Вот это — обида! Куда деться теперь старухе-то? Изба на один бок окурнулась.

— Ничего-о, — мирно сказала Мотря, — наладит Митька, он работающий, мастеровой мужик. Наладит избу. Еще лучше будет.

От голоса и взгляда Мотри тянуло покоем, Василий тоже утих и посветлел духом, перестал сердчать. «Как в саду ясном возле нее, — подумал он про Мотрю, — только вот худо — детей у нас нету. Тогда бы вовсе — не жизнь, а малина с такой-то бабой!»

А вслух Василий спросил:

— Доски-то к заплоту прибила, што ль?

— Да сразу прибила. И улей на место поставила.

Василий снял с надпечка фанерный чемоданчик с тетрадками и вырезками про царскую жизнь. Открыл. Под кипами бумаги в углу лежал берестяной чумашек, набитый бумажными деньгами. Там их было тысячи три, а может, больше. Василий и сам точно не знал — сколько. Тут же лежала сберегательная книжечка — серая, с гербом, — и в ней тоже красовался

длинный рядок цифр в графе «Сумма вклада». По-маленьку набегало — разные там дополнительные и премиальные. В сельпо каждый год кабана сдавали, а то и бык подрастал — хороший получался прибавок. А тратиться некуда — мед свой, ягода, огорожина всякая. Домовитая Мотря понимала толк в домашнем хозяйстве. Складно у нее это все получалось. «Как в саду ясном», — опять подумал Василий Утин про Мотрю.

— Чего тебе из Москвы привезти? Заказывай.

Василий даже карандаш в руки взял — черкнуть для памяти.

— Чаю купи индейского. Да, может, платок пуховый увидишь, теплый.

— И все?!

— А чего еще?

— Ну, это... шелка, бархаты...

— Смолоду не носила, а сейчас ни к чему, — задумчиво сказала Мотря. — Сестрины обноски донашивала, какие шелка! А в войну юбка на мне из мешковины была, обутки из сыромятины

Василий жалел Мотрю: и молодость в нужде прошла, и детей нет. Мало радости! Только в песне и отдохнет человек, но и петь Мотря была не горазда.

— Я тебе криплин привезу на платье. Шубу куплю цигейковую! Криплин, говорят, нынче в моде.

— Да сядь ты! Куда я в шубе-то: поросят кормить? Себе чего-нибудь присмотри.

В окно постучал посыльный — зовут Василия в контору, получить на дорогу деньги. Выписали ему на билет в обе стороны да к тому еще суточные.

— Ишь ты! — удивился Василий. — На питание, значит...

Новенькие деньги приятно хрустели, холодили карман.

— Ушами не хлопай там, — напутствовал Утина председатель колхоза. — ВДНХ — это наука, брат! Мотай на ус. С народом знакомься. Узнавай, у кого скот попородистей, нельзя ли на племя купить. Добрая порода — сила!

Василий Утин легко сбежал с крылечка конторы. В ногах и во всем теле было незнакомое чувство обновления, свободы и легкости. Он теперь не просто

Василий Утин, пастух, а как бы государственный человек: едет перенимать опыт и делиться своим. «О жилье и прочем не беспокойся,—сказал председатель,—списки лежат в Москве, и ты в них значишься». Василий Утин даже слегка приосанился, расправил плечи в новом костюме: завтра он уедет в районный центр, а потом большой самолет вздымет в небесную высь и помчит его на запад, в столицу!

Вислобрюхая свинья с поросятами переходила улицу. Тарахтела некрашенная маслятая телега — сивый конишка усердно тряс гривой. Голуби опускались на перекладки телевизионных антенн, а в огородах опускались зеленью грядки. Качались, поскрипывали журавли колодцев — бабы набирали воду для вечерней поливки. Деревню с трех сторон подпирала тайга, а с четвертой громоздилась крутая сопка. Фомичево как бы притиснуто к дальним таежным закрайкам.

Однако вот знают же о деревеньке в Москве; и его, Василия Утина, персонально знают! «Фамилия твоя,—говорят,—в тамошних книгах значится». Удивительно и непросто устроен мир...

На лавке сидели три мальчугана — один с гармошкой. Василий признал в нем Ганьку Бутакова. При виде Утина сорванцы переглянулись и захихикали. А когда миновал эту шлопутную троицу, в спину ему грянуло:

Жил-был на селе царь Васишка-а-а,  
Была у него сберкнижка-а.  
Деньги он в чулок кладе-ет,  
На рюмку водки не дае-ет.

Василий остановился. Пацаны пропели по инерции еще стишок, где говорилось, что Утин — «жмот и глот», а гармонь при этом издавала какие-то собачьи звуки: рычала и гавкала. В лающей гармонии Василию Утину причудилась такая обида, что во рту у него стало сухо и горько.

Он круто повернулся и пошел к лавке, где сидели его несовершеннолетние оскорбители. Певцы мызнули в сторону и перескочили через заплот, а музыкант с гармошкой как сидел, так и остался сидеть. И гармонь его продолжала негромко гавкать.

Один глаз Ганьки Бутакова закрывали волосы, по-

хожие на конскую челку, а второй глаз упрямо и зло уперся в лицо Василия Утина. Это отец научил его дразниться, а может, Ганька краем уха слышал отцовский разговор и по своему почину сочинил обидную песню. Но зло откуда? Сквозь серо-зеленый круглый зрачок зло глядело спокойно и ровно, как некий свечной огонь.

Василий Утин опешил, натолкнувшись на этот взгляд. Конечно, это Иванова работа! Настроил сыночка. Обида — камнем. Неудачная поездка в город, провал с учебой на музыканта натянули в его душе злые струны, и он на них будет играть до конца своих дней. Станет Ганька пьяницей. Бывают такие люди: бочком стоять не будет, он к тебе встанет лицом или задом. Бить и наказывать таких бесполезно — только злее они от этого. А к душе как подойти, по которой тропке?

— Ты это... Сыграй мне,— негромко попросил Ганьку Василий Утин.— Сыграй взаправду...

Песни и всякую другую музыку Василий Утин любил — на боку у него играл радиоприемник, когда выгонял на пастьбу гурт.

— Ха! — хмыкнул Ганька.— Иди себе, дядя, иди...

— Нет, правда! Все в лесу да в лесу, с быками, нутко-то и не слышал, как ты играешь. Хорошо, говорят, играешь. Сыграй!

— Да брось ты...

— Я тебе когда худо сделал? Это тебе надо бы драть уши за огородное хулиганство и за эту песню. А я — человек добрый.

— Все вы добрые,— с холодным укором, по-стариковски сказал Ганька.

Они встык — «по прямому проводу» — встретились взглядом: вундеркинд (о ком в деревне говорили: «Из молодых, да ранний») и зрелый непьющий человек, чей мозг — без малейших признаков склероза. «У тебя деньги, у меня талант,— методом телепатии сказал Бутаков Ганька.— Ты деньги зарываешь, а я талант свой зарюю. Я не хвастаю — что есть, то есть! Через меня было для вас великое одарение природы, но вы этого не поймете: как были ослами, так и останетесь — вот и вся любовь!» И тем же методом — не то телепатически, не то одними глазами — ответил ему

Василий Утин: «А ты поласковой будь с людьми, по-добрей. Оставь про себя гонор-то». К этому он еще прибавил вслух:

— Может, я тебя в Москву хочу взять с собой...

— Смотри, а то удавишься! — хохотнул Ганька. — Ты же скупей скупого...

Он приставил к носу два пальца и демонстративно высморкался. Руки у Ганька — плохо мытые и покололись от цыпок. Эти руки почему-то напомнили руки Ивана, когда он валялся в крапиве и скреб пальцами поколотую засохшую грязь.

Ганька встал и пошел вдоль улицы. Пальцы его перебегали по кнопкам трехрядки. Звонкие золотые колечки вылетали из-под Ганькиных рук — сверкала и пенилась радость ожидания, радость светлого ожидания. Тревожно и грустно сделалось Василию Утину от наигрыша трехрядки. О красивой жизни тосковала гармонь.

Дома Василий в задумчивости присел у стола под тяжелой старинной божницей. На этом столе лежала стопка книг и журналов, в которых было написано про царей. Василий решил немного позаниматься.

Мотря бесшумно, но суетливо двигалась по избе — собирала мужа в далекий путь, хотя собирать-то было особенно нечего: смену белья да пару свежих рубах уложить в чемоданчик.

— Самолеты-то теперь — страх господний! — причитала Мотря. — На одном огне, говорят, летают. Уж лучше не ездил бы ты...

— Не бойся! — сказал Василий и с некоторой важностью нацепил на уши дужки очков.

Он взял со стола картонную папку с веревочками вместо застежки, подумал и написал шариковой ручкой: «История земной подлости через жизнь царей всех стран и народов». На другой папке (эти папки он купил в сельпо специально) Василий Утин вывел: «Количество тайных и явных нарушений, а также их укоренение среди живых». В эти папки Василий собирался переложить вырезки из журналов и тетради с записями.

Потом он сел читать толстую книгу, которую ему отыскал библиотекарь. Библиотекарь необидно посмеивался над чудачеством Василия, но старательно по-

соблял ему собирать «царские жития». На этот раз книга попалась особенно интересная. Написал ее большой грамотей — француз про своих французских царей. Та же внешняя умность, картинность и грозность и та же подлость, склоки за бархатной занавесью с золотой короной. Уничтожают справедливость и прямоту, любят случаи лошадей, развращают несовершеннолетних своих детей и укладывают их в постель с девицами, чтобы те раньше времени сотлели умом и не могли посягнуть на трон отца или матери. И кругом — наушники, подхалимы, кляузники, заплочных дел мастера. Копшатся подхалимы в духовном дерьме, в изгаженной совести, чтобы только получить в руки побольше денег, купить золотые цепочки-брошки да малиновые шелка-бархаты и хоть в этом чуть-чуть приблизиться к царю с царицей.

Забористо написана книга этим французом, местами чересчур грамотно, но все, все понимает и видит Василий Утин! Он прямо-таки докой стал по части царских житий, собаку, можно сказать, съел на этом.

Мотря ставит возле печи квашню с тестом, отбирает у Василия книгу и гасит свет. Стоит Мотря в простой белой рубаше до пят и распускает волосы. Идет от нее хлебный дух, пахнет немного потом и свежестью полотна, обдутого ветром. Сквозь окошко падает лунный свет и высвечивает белое одеяние Мотри. «Истинная царица ты моя!» — с лаской думает Василий Утин и больше, чем когда-либо, понимает, что счастье человеческое в простоте, ясности и чистоте духа. Остальное все — сор и дым.

— А мы-то, скажи, зачем деньги ложим? — спросил Василий, когда Мотря легла рядом.

Вопросу такому она не удивилась: любил Василий перед сном поговорить о крупных человеческих делах.

— Да уж так повелось, — ответила Мотря, — и потом — мы же работаем А пока человек работает, ему идут эти бумажки, где буквами-цифрами за каждой написано, насколько он наработал.

— Чепуха вообще-то! Вроде бы впереди голодухи не ожидается, а будет — отнеси ее мороком! — голодуха, так и деньги — пустой сор! В войну-то как было?

И еще Василий вслух подумал о деньгах: какие же это бумажки с надписью о труде, когда их может

заполучить хитрым образом спекулянт душой — со-  
вестью или простой материальный мошенник?

Василий вспомнил один случай и засмеялся: в рай-  
центре — сразу после войны это было — умер от исто-  
щения одинокий старик-спекулянт, старухи пришли его  
обмывать. В избе было бедно, голо и грязно. Но когда  
стали стаскивать старика, порвали засаленный мат-  
рац, а там, между двумя войлочными потниками, об-  
наружились толстые пачки денег. Матрац был битком  
набит деньгами. Старухи попрятали их, а одна стару-  
шенция тихонько от других (та, которая шила гробо-  
вую подушку для изголовья) набила наволочку рубля-  
ми, перемешав их с травой. Это чтобы усопшему  
спокойно лежалось, сообразно с его верой и убежде-  
нием.

— А другой спекулянт, — вспоминал Василий  
Утин, — не умер, а долго жил и маялся от обжорства.  
У него получилось ожирение сердца, а дочь его тоже  
так расперло, что она не могла разродиться, ребенка  
врачи вынули через живот, а он оказался калеккой.

— Эк, его понесло! — отвернулась к стене Мот-  
ря. — На ночь-то люди о добре говорят. Сон тогда бу-  
дет ровным и кровь очистится. Матушка моя так го-  
ворила.

— Ладно, — сказал Василий, — тогда о красивом  
будем.

— Спи-ка ты лучше, — урезонила Мотря.

Под окнами тишину ночи колыхнул девичий смех,  
парни прошли нарочито с глуповатой песней, где вос-  
певался «Кот-обормот». Играла гармоника.

— Кажется, Ганькина гармонь? — прислушался в  
ночные звуки Василий. — Хотя куда — ночь!

— А им все равно, что ночь, что день. В клубе на  
танцульках играет.

— Так ему лет-то сколько?

— В четвертый класс перешел. Вышагивает со  
взрослыми, как лилипут. Гармошечка на ремне...

Василий Утин лежал молча. «Спит, — подумала Мот-  
ря, — угомонился!» Но Василий не спал — думал. Лу-  
на уползла вбок и едва освещала ветки тополя за  
окном.

— Вот ты говоришь: о добре давай, — после долгого  
раздумья произнес Василий, — а что, если Ганьку мне

действительно в Москву увезти? Пока он совсем тут не избаловался и не одичал? Увезти да профессору показать — талант у Ганьки! И пусть его там учат. Обрадуются профессора-музыканты: из самой народной гущи талант! Адрес: медвежий угол. А станет великим — нашу деревню-то как прославит!

— Наверное, не просто все это... Вот, отец, Иван-то...

— Да что Иван! У Ивана в кармане — вошь на аркане. Туда ехать — средства иметь надо, и немалые!

От возбуждения Василий соскочил с кровати и раз-за три пробежался по комнате. Для успокоения выпил ковшик холодной воды.

— Вот это будет фокус! Да-а-а! Мужики глаза на лоб вылупят. А то заладили себе: скупердяй Василий Утин, жмот! Это что я не лью им в пьяные глотки-то... Теперь увидят!

Он залез под одеяло и удовлетворенно засопел. Но перед тем как заснуть, спросил Мотрю:

— А может, ты денег жалеешь?

— На добро-то чего их жалеть? Я не думаю, что тебе подушечка когда-нибудь из рублей понадобится, как тому старику, в изголовке-то...

Чуть свет, чтобы захватить в конторе председателя, Василий Утин побежал в центр: надо было узнать, когда выезжать точно. По дороге его догнал на машине парторг и сказал, что выезд назначен на послезавтра, сбор будет в райцентре.

Но Василий все равно шел: возле конторы, ожидая разнарядки, собираются мужики, и там должен быть Иван Бутаков. Как бы это получше сказать о своем решении взять Ганьку в Москву? Он совсем не думал, что Иван Бутаков умилился и от радости начнет обнимать Василия Утина. Скорее, он оскорбится или заподозрит подвох. Люди отучились от простоты, рассуждал Василий, а как сказано в книжной премудрости, «все гениальное просто».

Так и вышло: Иван Бутаков стал насмехаться, шуметь, созвал мужиков, хотя Василий хотел поговорить с ним вначале тихонько, для чего и отозвал было в сторонку. Иван ослабил мягое, щетинистое лицо:

— Добряк явился! О Ганьке моем у него забота... Гляньте сюда, мужики. Ха-ха!

Малорослый Василий все-таки неловко себя чувст-

вовал рядом с высоким Иваном. А тут еще мужики сгрудились:

— А что, пусть мощной тряхнет...

— Да там свои пузаны...

— Хоть столицу пацан посмотрит. Все равно ведь каникулы...

— Они там свою ребятню не знают, куда девать: в колхоз-то к нам не пошлют их работать...

— Всяка птичка вверх летит, а выше Москвы нету! Вот каждый и метит своєю приладить...

— Это точно: там у них свои фигли-мигли...

Последние слова сказал гладкий белобрысый мужик, шофер Онисимов. Отец Онисимова заведовал зерновым током, и они ночами тихонько возили из-под колхозного навеса зерноотходы, которыми откармливали свиней на продажу. Глаза у этого шофера были неуловимые и вертячие, с этакой кошачьей зеленью. Именно это обстоятельство разозлило Василия Утина, и он как-то вдруг поширил грудью, плечи развел. И непонятно выкрикнул:

— Холуи вы царские, вот вы кто!

— Кто, кто?

Мужики с угрозой замолкли.

— То есть дым истории сидит в ваших мозгах, холуизм,— пояснил Василий.— Наследство далекого холуизма. По-ученому — хромосомы, гены. Трансформация!

Иван Бутаков порывался двинуть Василия Утина за «трансформацию» и «холуя», но его утешали, толкали кулаками в бок: все-таки это было зрелище, когда расходился царь Васишка! Что-нибудь анекдотичное должно случиться — перед началом работы полезно и посмеяться — для бодрости.

— Да вы оглянитесь, где мы живем? Государство наше — народное, рабочее. Да я целый тарарам устрою, если Ганьку профессор учиться не примет. Ганьке — сыну рабочего человека, народный талант! Я к министру пойду...

Василий Утин еще шире выпятил грудь, на которой позвякивали ордена и медали, и, подыгрывая хохочущим мужикам, сказал:

— Р-расступись, работяга идет, кавалер Трудового Красного Знамени, правящий класс...

Конца представления мужики не дождались, потому что с крыльца конторы закричал агроном, велел Утину идти домой, а мужиков отправили на работу.

Но вечером прибежал к Утиным один из отпрысков Ивана Бутакова, младший брат Ганьки, и сказал, что отец приглашает Василия Утина на чаепитие.

Коровы демонстративно вышагивали по улице. Василий подождал возле калитки, пока уляжется красноватая пыль. Из окошек домов на Утина заглядывали во все глаза, а встречные подходили и заговаривали с ним. К вечеру всей деревне стало известно, что Василий Утин вознамерился увести Ганьку Бутакова в Москву и там определить его учиться на музыканта. И не просто так, а к самому большому профессору музыки.

Старухи с ним почтительно и низко раскланивались, будто он был важным заезжим гостем. Василий приписывал это сегодняшней газете: на первой странице районной газеты был напечатан портрет Василия. Вот, мол, живет в селе Фомичево знатный пастух Василий Утин, досрочно завершил пятилетку по сдаче-нагулу скота, а на днях едет в Москву на ВДНХ.

Иван Бутаков против обыкновения сидел дома гладко выбритый и в чистой белой рубаше. Жена его Дуся тоже как будто принарядилась. Возле печи на стуле-подставке попыхивал паром горячий самовар. При виде Василия Утина Дуся его быстренько водрузила на стол.

Для начала заговорили о погоде, о травах в лугах. Василий держался стесненно: в кармане лежали деньги, которые дала ему Мотря для Бутаковых. Пусть мол, они купят костюм и новые ботинки своему Ганьке. И пусть видят, что намерение Утиных вполне серьезное.

Вдоль стен избы Бутаковых стояли старые деревенские лавки да крашеный масляной краской дощатый диван. Таких диванов теперь в самых плохих домах не видно: все перешли на модную мебель с зеркальным лаком.

— Мы тут немного посоветовались,— необычно мягко сказал Иван.— Ну, ты удумал! Даже не знаю... Утром-то я погорячился, конечно. Но все-таки зря ты берешь на себя хлопоты!

— Не в тягость, а в радость такие хлопоты,— сказал Василий.— Вместо сына повезу. Нас с Мотрей природа обделила детьми, так хоть Ганьке хорошее сделаю. Выучится—вроде и мне сынок тоже будет.

— Ну, даже не знаю, как тут быть. Охота мне, конечно, Ганьку на большого музыканта выучить. Весь день сегодня думал—крутил так и этак. Задал ты мне задачку.

В избу забежал Ганька в штанах, закатанных до колен. Стрельнул глазами в лицо гостя: жаловаться пришел или действительно в Москву повезет, как говорят сегодня весь день по деревне? Лица у отца с матерью светлые—видать, и правда Василий Утин пришел с хорошим в дом. Синеглазое лицо гостя тоже светлое и спокойное—солнышко в синем небе.

— Вот дядя Василий,—сказал Иван Бутаков Ганьке,—в Москву тебя берет, учиться определит в большую музыку. Поедешь?

Ганька по уши залился краской, хотел сорваться и убежать: дядя Василий о нем хлопочет, а он-то его вчера облаял гармонью, «жмот и глот» кричал в спину.

— Простите меня, дядя Василий!—только и смог пролепетать Ганька и диким косуленком вылетел за дверь.

— Во дела-а!—потер загривок Иван.—Тут, вижу, без бутылки не разберешься. Дуся, сбегай-ка в магазин...

Минута вроде была подходящей, и Василий Утин выложил на стол деньги:

— Ганьке это, на обмундировку...

— Василий Гаврилович!—охнула Дуся, не видевшая зараз столько денег с тех пор, как Иван стал баловаться водкой.—Стоит ли?

Иван возился с куревом, рассыпая на пол табак. Молчал, как бы не замечая денег. Руки его подрагивали—оттого и табак сыпался на пол. Наконец с облегчением Василий Утин услышал голос Ивана:

— Что ж... бери, раз дают! После, может, и у нас праздник будет.

Сидели вдвоем, тихо переговаривались. Непривычно было видеть Ивана мирным и трезвым.

В дом Бутаковых зашел учитель, а скоро и жена Ивана вернулась из магазина с покупками.

— Знаю, Вася, что ты не пьешь,—открыл бутылку Иван Бутаков и налил первую рюмку Василию,—тебя позвал, думал: тоже сегодня не буду пить! Но сегодня нельзя не выпить—расколыхнул ты мне душу, Утин! Обида на пузанов и у меня вот где сидит...

— Это вы насчет областной музыкальной школы?—спросил учитель.—Зря, наверное. Там действительно школа для приходящих детей, для местных, городских.

— А в Москве? Там-то как?

— В Москве есть такая школа, где одаренных детей содержат на полном обеспечении. Вроде как школа-интернат, только целиком музыкальная

— Во, видел?—поднял палец Василий Утин.—Я что говорил? К министру пойду—добьюсь!

Василий опять расхрабрился и даже опрокинул в рот стопку.

— Вам лучше для начала в радиовещание там зайти,—сказал ему учитель,—Ганька стоит такой заботы. Подумать только: Сен-Санса на слух играет!

Василий радостно оглядывал лица: все хорошо получается, и учитель его поддерживает! И Дуся в ожидании разлуки с Ганькой мокрит глаза—все серьезно и все как водится! Разглаживает Дуся на коленях обнову—костюм для Ганьки. Сам Ганька где-то прячется во дворе—не могли его докричаться. Тоже, видеть, страдает, думает: отца с матерью надолго покинуть придется!

Домой Василий Утин уходил поздно. Тихая ночь качала над деревней запах горькой полыни и хвои лиственниц. Спала деревня. В редких окнах горели огни, лежали тени цветочных горшков на шторах. Сидят в этих домах бабы и мужики и, может, говорят про него, Василия Утина.

Шорох босых ног слышался. Так и есть—Ганька догнал.

— Не сердитесь на меня, дядя Василий! Я не такой—вот увидите! Не сердитесь...

— Да ладно ты. Чепуха это все. Сам озорничал, когда маленький был.

Василий поелозил пятерней по Ганькиной голове,

чувствуя упругость и тепло ребячьих волос, сказал коротко:

— Иди-ка, спи себе!

На пустыре Василий залез в какую-то болотину и долго огибал лужи с блестящей чернильной водой, в которой отражались звезды.

Во дворе Бутаковых задумчиво и длинно заиграла гармошка. За деревней зверем горбатилась сопка, и над ней мигал изумрудно-зеленый глаз большой одинокой звезды.!

По ту сторону горбатой горы лежал угол Тысячный, в холодных и росных лугах которого дремали жирные пегие быки и хрупали травой табуны лошадей. Глухо-немой сменщик Василия тоже, наверное, смотрел сейчас на эту звезду, ничего не зная про Ганьку и про пастуший народ кушаны, у которых был царь Васишка. И вовсе не царь, а такой же простой пастух...

Василий выбрел на огороды, нащупал в темноте корявую жердину городьбы, остановился. Умом и всем телом он чувствовал сейчас бесконечные просторы мироздания и от бессилия облететь Вселенную плакал — от водки у него всегда делалось мокро в глазах, поэтому он и не пил ее. Жалостливо как-то делалось к себе и людям. А в Ганькином возрасте он хотел стать летчиком: облететь всю землю, увидеть Мадагаскар, якутский поселок Чапа-Олого, Соломоновы острова.

В эту ночь ему показалось, что он уже был в тех местах (крепко засело в памяти это Чапа-Олого!), хотя Василий Утин никогда не выезжал за пределы области и в Москву собирался первый раз в жизни.

Такой скучной тайги я никогда не видел — Кашеево царство, покрытое паутиной и пылью! Серое небо, серые деревья, серая трава. Хотя бы клочок зелени — елка, например. Утки, которых бил Сергей, тоже были серого цвета.

С ухваткой рыси Сергей полез по жухлой траве, скрадисто перебегал от куста к кусту. Повод его кобылы я привязал к седлу своего битюга. В камнях берега грязными островами маячил лед, обсосанный ветрами.

Маленькие серые утки невестились. Почти все они плавали парами: егозливый самец и задумчиво-важная самочка. Короткий щелчок выстрела заставлял уток врасплох. Стреляя из малокалиберной винтовки, Сергей ни разу не промахнулся. Но я не мог понять одного: зачем нам утки? В торопах еды у нас больше, чем надо для двоих, а охота вся впереди — ехали мы на глухариный ток. Другому я бы сказал: «Брось пулять, друг, хватит!»

Не могу видеть, когда стреляют в спарившихся птиц. Весной я никогда не беру в руки ружья. Весной все живое заходится в ожидании счастья — начиная от муравья и кончая человеком.

Но Сергею я не мог сказать этого. А может быть, не хочу? Я даже немного заискиваю перед Сергеем — посторонний сразу бы заметил, что я перед ним заискиваю! Когда он особенно ловко срезает птицу, взбурлившую воду и уже готовую встать на крыло, я кричу ему издали: «Чемпион!» Цель нашей поездки — сфотографировать на любовном ристалище глуха-

ря, записать его голос на магнитофонную пленку. Сергей — знаток здешних мест. Проводник и устроитель поездки. Ведет на самый дальний ток. Моя удача — в его руках.

Охота не только страсть, но и беда Сергея. Впервые я встретил его в Тургуе — охотничьей деревушке, затерявшейся в сопках южного Забайкалья. С женой и годовалым ребенком Сергей жил в тесном доме отца — старого соболятника. Я тогда снимал для газеты фотоочерк про соболю охоту, и Тимофей-младший понравился мне своей исключительной фотогеничностью. Широкие мазки бровей, нос с горбинкой, густые черные кудри — этакий писанный красавец в классическом русском стиле! Но Сергей все поворачивался к объективу фотокамеры спиной, ухмылялся иронически. Тимофей-старший прояснил дело: сын у него не профессиональный охотник, он горняк. Жил в городе Артеме, что на Дальнем Востоке, работал в угольной шахте мастером. Что-то у него вышло с тамошним егерем и милицией (кажется, убил уссурийского тигра, охота на которого запрещена), а потом в шахте произошла катастрофа — взорвался метан. Вины Сергея в этом не было, но после взрыва парень затосковал по тихой таежной жизни, уволился с работы, сдал городскую квартиру и приехал к отцу в Тургуй. А теперь дела у него с женой на грани развода, да и сам он чувствует себя рыбой на песке: чушь, дескать, стородил! Тургуйцы свозят свои дома ближе к райцентру, одни старики в деревне остались. Тишина в Тургуе такая, что по ночам собаки, и те стесняются лаять. Сергей написал письмо в геологическое управление — дождется ответа, весной уедет...

И вот теперь, спустя два года, я встретил Сергея у геологов Итака. Косая ухмылка, которая портила его лицо, исчезла, и Сергей стал как будто еще красивее. Спокойный, уверенный в себе человек. Строит шахту. Обнаружены богатейшие залежи руды. А в окрестной тайге — богатейшие возможности для охоты. Иди в отроги Становика или под гольцы хребта, за которым бежит река Олекма, — везде зверь. Стрелял минувшей зимой медведя, сохатых, изюбров. По добыче соболей отца обогнал: отец 23 собожьих шкурки, пишет, добыл, а Сергей сдал на ба-

зу 28. Соболя дешевые, рыжие, но все-таки соболя! Сейчас весна — летят утки, гуси, и Сергей почти не живет дома. После работы — на мотоцикл и сразу в тайгу, ночует возле костра. Глухари? Сколько угодно! Концерт целый можно записать на пленку. Прошлый раз он пошел на ток — настрелял столько, что еле донес.

У начальника взял коней — самый лучший вид транспорта для бездорожья. Удобные кавалерийские седла, просторные торока с едой и теплой одеждой, сытые, спокойные кони. Но, откровенно говоря, тайга Игаки мне не нравится. На юге Забайкалья тайга и зимой в зелени. Нарядный вид ей придают сосняк, кедр, арса, пихты, кедровый стланик. Здесь литвяк и листвяк, сбросивший хвою и еще не отошедший от зимней спячки. Такое чувство, как будто едешь по сплошной гари.

Скоро мы удалились от реки, и Сергей перестал стрелять. Равнина изреженного леса была здесь еще серее. Ни звука, ни зелени, ни движения. Говорят — «тоска зеленая»... Это неправда, тоска не зеленая, она серая. Сейчас эта тоска размашисто и предметно катилась плоской долиной с редью безлистого леса, замерзала у нитки гольцов, белевших на горизонте. Чувства и эмоции стекленели, поэтому я не выразил ни удивления, ни радости, когда Сергей сказал полупшепотом:

— Ну вот и ток. Прибыли.

Мы остановились среди болота. Горбились мерзлые кочки, в разные стороны, будто собираясь в любую минуту упасть, кренились голые деревья. На низком взлобке (там и был глухариный ток) серые деревья стояли плотнее, под ними даже чернел подлесок, но и там нельзя было заметить что-либо живое. Но в жухлой серой траве кочек темнело холодное пятно костра, белели обглоданные кости птиц и тускло блестели две водочные бутылки.

— Черт! — разочарованно выругался Сергей. — Кто-то здесь уже был. Нашкодили!

Коней мы привязали к дереву, насыпали овса прямо на серенький бархатистый мох. Сергей развел на старом кострище огонь и спросил:

— Уток будем жарить?

— А есть ли для этого время?

Времени не было. Мы съели по куску колбасы

с хлебом и через 15 минут лежали в сидьбе — тесном шалашике из коры и сучьев. В нем было уютно и сухо, по крайней мере кочки здесь не торчали. На землю, чтобы не простудиться, мы постлали войлочный подседельник. Маленький репортерский магнитофон я установил между оголенными корнями дерева, к которому был пристроен шалаш. Никелированный микрофон мы обернули тряпичей и привязали к палке на верху шалаша. Потом я вынул из кожаного чехла фотокамеру и привинтил к ней трубу телеобъектива. Все это я проделал без воодушевления, даже лениво. Перед глазами стояла серая пустынная тайга Итаки. Откуда возьмутся в ней глухари? Ехали мы полдня, но, кроме уток в заводях и старицах речки, даже букашки не видели. Ни птички, ни бурундука, ни белки! Итака — это уже Север.

— Похоже на пушку, — сказал Сергей, взяв в руку фотокамеру и разглядывая тяжелый телеобъектив.

Казалось, что он и сам не верит, что к шалашу прилетят глухари. С лаской виноватого человека Сергей подтыкал мне под бока войлок подседельника, в стенах сидьбы заботливо прорезал охотничьим ножом несколько дыр, чтобы я мог высунуть объектив в любую сторону. Сквозь эти дыры я смотрел на серые поляны в надежде увидеть хотя бы муравья. От тишины звенела в ушах кровь. Солнце зашторили плотные, серые облака, но было понятно, что день близок к закату.

— Пока не прилетит глухарь, можно разговаривать, — сказал Сергей. — Мы услышим, как он сядет. Затрещат крылья.

Я подумал, что разговаривать необязательно. Просто незачем. С далеких гольцов, за цепью которых неслась северная река Олекма, в долину натекал холод. Сковывающий холод, без признаков лесных запахов. Тело и воля цепенели в какой-то стеклянной полудреме. Было слышно, как на жухлые травинки с безлистных серых деревьев падают чешуйки коры и как звенит в жилах кровь: «Зинь, зи-и-инь»...

— В Артеме как-то один раз, — не выдержал молчания Сергей, — мы пошли с женой за город. Кажется, в мае было. Транзистор с собой взяли, крем для загара, бутылку виноградного И, конечно, ружье я подце-

пил на плечо. Японский автоматический дробовик у меня тогда был. Квартал свой еще не прошли, три молодца в красных повязках из-за угла выскочили. Давай руки заламывать, ружье хватать. Пихнул одного в живот — всю рожу мне синяками раскрасили. Оказалось — дружинники, «друзья природы». Почудилось им: пьяный идет по городу с расчехленной дробовкой. В тайгу меня потянуло. Пропади он, думаю, пропадом, этот город Артем. А тут еще взрыв случился на шахте, газ взорвался. Вот и уехал домой.

Где-то далеко, на краю острова, шумнуло ветками, шоркнуло. Я приложил палец ко рту: «Ш-ш-ш!» Но нет: все тихо! Почудилось? Сергей опять заговорил, но вдруг ближе шумнуло — уже сильно и явственно, будто ветром сорвало с забора кусок брезента.

— Сел один! — сверкнул в полутьме сидьбы глазами Сергей.

В той стороне, где шумнуло, штaketником серел неподвижный ряд деревьев, а за ним клубился дым кустарника и снова начинались деревья с голыми серыми ветками.

— Там он где-то сидит, — прошептал Сергей. — Сидит и молчит, будто воды в рот набрал. Распугали ток, гады! Кто-то успел порезвиться. Что будет, если вы не сможете сделать фото?

— Ничего не будет. Фото необязательно...

Мы полежали в сидьбе еще полчаса, а может быть, час. В небе незаметно произошли изменения: вместо серого оно стало цветным, красно-зеленым. Сучья на деревьях покрылись сизой окалиной. Солнце, прежде чем упасть на холодные спины гольцов, как бы пыталось оживить пустынное Кашеево царство. Колкий мороз проникал под одежду и напоминал о зиме. Я вынул из гнезда шнур микрофона, чтобы идти на табор, но тут же принял к войлоку. «Уф-фуф-ф-ф!» — прогудело над самой сидьбой. Будто кто-то спустил воздух из большой резиновой лодки. Вслед за этим раздался треск складывающихся крыльев — громадная черная птица опустилась на длинный сук дерева, который вытянулся параллельно красному горизонту. Крылья протрещали так, будто они были сделаны из фанеры.

По тайге ходил я много — прошел, может быть, тысячу километров, а может, гораздо больше. Но ни-

когда не видел живого глухаря — копалухи (самки) и те, что садились вдалеке, в счет не идут. Любовное токование глухаря я слышал только в записи на граммофонную пластинку, но то был западный, европейский глухарь, а песня у него совсем другая, говорят знатоки. Теперь меня поразила вид этой твари: не птица восседала на дереве — лесной бородатый дух царственно и мрачно оглядывал безжизненные голые леса.

Сергей придавил к земле мои руки, в которых я держал фотокамеру: пока птица не запоет, нельзя стрелять, фотографировать, двигаться. Иначе глухарь в ту же секунду сорвется и улетит.

Ждать нам пришлось долго. Глухарь не издавал ни единого звука — сидел, расставив на суку косматые ноги, как бы обутые в меховые унты. Очень медленно Сергей вынул из кармана куртки спичечный коробок.

Теперь я точно знаю, что если бы не этот спичечный коробок, то ничего бы в тот вечер не было. Холодная немота тока одержала над птицей верх. Закаменев, глухарь намертво прирос к дереву, став частью этого дерева. А серая вода сумрака уже размыла по низу очертания стволов, палых сучьев, колодин. Притиснутые тишиной к земле, мы пролежали четверть часа, а может быть, даже час. Лежали бы еще час или два, но Сергей медленно вытянул из кармана спичечный коробок. К моему ужасу, он ударил в крышку ногтями, как в маленький барабан: «Тук-тук, тру-ту-тук-тук».

— Ке? — удивленно и бодро крикнул глухарь, вместо того, чтобы сорваться и улететь.

Сергей продолжал стучать в коробок.

— Ке-кен! — возбужденно крикнула птица, вытянув дутую шею и затопав на суку косматыми лапами.

— Кен, кен, тре-ке-кен, кен! — металлически чистым голосом отозвалось дерево.

— Все! Завелся! —дохнул мне в ухо Сергей.

Двигая бородой и топоча ногами, похожими на звериные лапы, глухарь кому-то кивал, взбадривал кого-то. Шаман? Заклинатель? Бородатый дух тайги делает шей пассы, а деревья поют, бормочут молитву жизни: «Просыпайся, земля, двигай талые соки, дай силу траве, почкам веток. Кен, треке-кен, кен!» Шевелится и зеленеет мох, набухают почки на сучьях деревьев. Серые деревья не сухостой, лиственницы это. Взойдет солнце —

веселый, нежно-зеленый пожар молодой хвои охватит лес. Пожар весны, пожар жизни!

Сергей механически поднял с земли винтовку, которая все это время лежала в шалаше рядом с фотокамерой. Теперь уже я прижал к земле его руки. Очумело, будто спросонья, Сергей блеснул в полутьме сидьбы глазами. Потом закивал: понимаю, дескать, фотографировать будешь! Топочущий бородатый глухарь вместе с толстым суком лиственницы контрастно чернел на фоне закатной окарины горизонта. Света для съемки было недостаточно, но магнитофон я включил давно — за стеклянной крышкой ворочались белые колеса кассет. Машинка работала, сматывая древнюю молитву пернатого заклинателя в тугие витки. «Слушай, слушай!» — прижимал я руку Сергея к полу сидьбы. Он все еще порывался сграбастать винтовку, но еле заметно, вяло. Потом как бы уснул, закаменел, заколдованный криками леса.

Дремотно-древняя птица, дремотно-древняя песня! Говорят, что глухарь — самая старая на земле птица: остаток не то Гондваны, не то мезозойской эры. «Кен, кен!» — тряс бородой глухарь в сладких мучениях. С клюва птицы срывалась пена, крылья обвисли.

Певец повторял одни и те же колена. На пленку магнитофона они легли несколько раз. Я подумал, что мое дело сделано, песня записана! На ногах от холода свело жилы. По мере того как густел сумрак, крепчал мороз. Сучья деревьев и топочущая птица плыли по красно-зеленым разводам неба черными силуэтами. Еще пять—восемь минут, и стрелять будет невозможно. Я свое дело сделал — теперь очередь за Сергеем. Понимаю, что в поющую птицу стрелять нельзя. Сам этого не сделал бы. Просто не мог. Но Сергей — охотник, почему я должен ему до конца портить охотничью зорю? Ведь этот поход устроил Сергей, я должен ему выразить благодарность. Днем, когда Сергей стрелял уток, я даже заискивал перед ним.

— Стреляй, — шепотом сказал я, пододвинув винтовку Сергею, который окаменело уставился в оконце сидьбы.

— Что? — удивился Сергей. — Стрелять?

Я утвердительно закивал головой, хотя всей душой противился выстрелу.

Без единого звука, сняв затвор с предохранителя, Сергей молча подал мне «тозовку» — мол, сам стреляй. Нервы у меня, очевидно, были сильно взвинчены, потому что я прилип к уху Сергея и зашипел:

— Да стреляй же, черт тебя побери!

Целился Сергей долго: мушка, видимо, сливалась с черным силуэтом птицы. Охотник опускал смертоносный агрегат и снова прилаживал его к плечу. А глухарь, топоча мохнатыми лапами и двигая бородой, исторгал заклинания:

— Кен, кен, трен-кен-кен. Треке-кен, треке-кен, кен.

Негулкий щелчок — и тут же короткий, тупой удар в землю. Будто с высоты упал куль муки. Тишина ошарашенно придавила наши головы к полу сидьбы.

Ничего нет и не было: безмолвие, темень, едкий холод с гольцов, безлистые черные сучья деревьев. Да еще зудение крови в ушах: «Зинь, зи-и-инь».

Белые колеса кассет магнитофона продолжали бесшумно крутиться. Я передвинул кнопку — сквозь муть сумрака колеса побежали обратно, как бы стараясь перелистать время, вернуть все назад. Я приладил к машинке шнур телефона, включил звук. Не песня — мышь, сидя в картонке из-под ботинок, щелкает, грызет семечки! Сергей все так же окаменело глядел в дыру сидьбы. Я приставил к его уху кружок телефона, но Сергей сидит и молча протиснулся в шаткий лаз сидьбы.

Мы подошли к лиственнице, на которой сидел глухарь. Убитой птицы под деревом не было. Как это ни странно, Сергей не огорчился. Не стал искать. Днем, охотясь на уток, он вел себя не так: бегом неся к подбитой утке, с радостью школьника показывал ее мне, высоко вскинув руку. «Чемпион!» — кричал я. Теперь притихший Сергей смотрел, как ночь невятно включает скользящие огоньки звезд, а я кружил вокруг дерева. В иистой воде сумрака различались стволы лиственниц, поляны с палыми сучьями, камни, кусты багульника, похожие на водоросли. Однако у меня было такое чувство, что я иду по дну железного бункера с гулкими заледенелыми стенами. Наконец я увидел птицу: она растеклась черным пятном на поляне между кустов.

— Здесь! — позвал я Сергея.

Сергей, однако, не двинулся с места и ничего не ответил. Я подал ему тяжелого глухаря, тело которого

еще хранило тепло жизни. Не взяв птицы, Сергей повернулся и молча направился к табору. Его молчание воспринялось выражением непонятной злобы. Я пошел вслед за ним, обеими руками держа убитого глухаря за шею. Испуганно захрипели кони, услышав удары наших ног по кочкам болота. Голые деревья, стоявшие вкривь и вкось, плыли по нему черными клочьями. При виде деревьев, падающих в реку немоты, подумалось: мы убили единственного обитателя леса, убили певца. Теперь это всего только мясо!

Холод катился с гольцов и неба упругими волнами. Казалось, что его нагнетает на землю громадный невидимый насос. Ни слова не говоря, мы таскали валежины для костра, молча что-то жевали и пили, молча готовились к ночлегу. Вдруг Сергей, обмякший от горячего чая, косо усмехнулся, нелепо сказал:

— Черт! В шахте это, в Артеме, метан взорвался. После выстрела вспомнилось давеча, черт! Трое до костей от взрыва газа сгорели. Жены этих троих о каменные куски угля головами бились. Смерть, видно, для всех одинакова!

До меня вдруг дошло: сегодня Сергей первый раз слушал любовную песнь глухаря! Раньше для него это был звук, под который надо торопливо перебегать от дерева к дереву, целиться, нажимать на курок... Сегодня он распознал эту песню, но я почти приказал ему: «Стреляй!»

На контрастном безлунном небе заметно выделялась белая пыль галактик. Лежа в спальном мешке лицом вверх, жутко и странно было думать о том, что каждая пылинка — планета.

У каждой планеты своя судьба. Есть планеты, где одни только звери и птицы, но нет еще «разумных существ». Есть планеты, где нет ни зверей, ни птиц — все съели «разумные существа». В космических кораблях они теперь покидают свои планеты — планеты, покрытые слоем кирпичной пыли.

Ожидалось, что после чертовщины этого вечера всю ночь будут сниться сны: бородатый Заклинатель, мертвые леса Гондваны, ржаво-красные марсы чужих галактик. Но никаких снов я не видел, спал крепко, а может, даже храпел во сне. Проснулся от щекотки солнечных лучей по векам. Или от гитарного, задумчиво-радостно-

го звона леса? За болотом, на взлобке, деревья торопливо балабонили, музыкально шелкали железными ложками, били в деревянные барабанчики. Токуют глухари! Откуда их столько? Сергей, конечно, не мог проспать — он там, в сидьбе!

Но я выполз из спальника и сразу увидел Сергея. Он сидел у костра, вытянув над огнем руки. Лицо у Сергея было желтым, опухшим. В свалывшихся, как войлок, кудрях запутались хвонники, сухая трава, чешуйки коры.

— Кобылу надо искать, — вяло, не глядя в мою сторону, сказал Сергей.

Я резко повернулся туда, где были привязаны кони. Под пепельно-серым деревом дремал битюг — спокойный, белый, широкозадый, похожий на беленую русскую печь, какие стоят в старинных крестьянских избах. От рыжей кобылы, на которой ехал Сергей, остался на шершавом стволе дерева отжеванный кусок повода.

В Итаку мы вернулись с одним-единственным глухарем, и Сергей обидно совал мне в руки эту птицу: «Супруга дома изжарит». Я упорно отказывался брать, но Сергей силой сунул мне под мышку сверток с глухарем. В аэропорту я положил сверток за кадушку с пожелтевшим фикусом и сделал вид, что забыл его там. Из иллюминатора самолета было видно, что серые леса Итаки лизнул нежно-зеленый дым: на лиственницах лопались почки.

## Аррей-озеро

Волны ворошат песок. На берегу мотает ольховые ветки, шумит хвоя сосен. Дует ветер — напористый и холодный. Пахнет озоном, йодом, льдистым дыханием далеких высот. Волны с белыми барашками на гребнях источают сине-зеленый донный огонь. На песок выбрасывает водоросли и темные водяные яблочки — сфероностоки, или по местному «картошку». Редкие старатели бродят вдоль полосы прибоя, собирают сфероностоки. От холода синеют пальцы рук.

Берега пустыньны, если не считать двух-трех сборщиков «картошки». Остальных поклонников озера (а их здесь тысячи три!) холодный ветер загнал в палатки. Деревянно стучат борта лодок, качаясь на цепях. Закрыта наглухо дверь зимовья, в котором живет Горбун — полупьяное, но доброе божество озера, поставщик всемогущей целебной грязи и водяных яблок.

Холодный ветер буйствует день или два, летят серые облака-кожи. И, как только пронесет табуны облаков, стихнут волны, солнце накаляет кварцевые пески берега до того, что нельзя ходить босиком. Неопытные любители загара опалываются на этих песках до фиолетовых волдырей — кожа потом спадает вся, как она спадает у змей во время линьки. Такие пески! Кварц (к тому же, возможно, еще и радиоактивный) имеет способность усиливать воздействие ультрафиолетовых лучей.

В солнечный день берега усыпаны детьми, женщинами, старухами, стариками. Много больных — именно они, больные, облепляют берега озера. Мажутся грязью, похожей на солидол, едят водяные яблочки (под кожицей яблок — студенистая и совершенно безвкусная мякоть), стоят по горло в воде, залечивая гнойные язвы, экзему, чесотку. Озеро питают донные минеральные источ-

ники — огромная воронкообразная чаша минеральной воды, море!

Может ли жить рыба в минеральной воде? Оказывается, может! Арей кишит рыбой. Шука, чебак, булус, синявки, вьюны... Мясо щук желтое — до отказа пропитано йодом. К многолюдью рыба привыкла, шныряет у самых ног, выхватывает корм чуть не из ладоней. А куда ей деться, рыбе? Вьюны до того привыкли к людям, что сосут пальцы ног, щекочут пятки любителей постоять в воде. Терпеливые стоят в арейской воде часами — лечатся. Специального врача на озере, конечно, нет. Специалистом, по давней традиции, считается Вася Горбун. (Между прочим, на кличку Горбун он несколько не обижается, сам себя так называет: «Вася Горбун всегда поможет». Или «Батьку-то своего отправь подлечиться. Приедет — пусть спросит Васю Горбатого».) В солнечный день избушка Васи нараспашку, дверь так и стоит открытой от темна до темна. На полу зимовья стоят тазы, кастрюли и ведра с грязью — подходи и бери кому сколько надо! В благодарность на дощатый стол бросают копейки, ставят бутылки с водкой, портвейном, «солнцедаром».

— Язва проклятая! — крутит в руках бутылку Вася Горбун. — Что с ней делать-то Больным вредно пить, а выбросить тоже жалко: люди зачем-то делали, труд человеческий! Гостинцы! Опорожнять надо...

Вася Горбун, страдальчески и брезгливо морщась, наливает желающим, наполняет и свой стакан. Выкидывать грех вроде, а несут и несут: куда ты денешься? Тяжело, трудно! Синенькие Васины глаза к концу дня делаются водянистыми и белесыми — Арей в дни слякотного апреля. Горбун уходит в кусты, падает и там засыпает. Ввиду обилия бутылочных подношений добрый дух целебного озера давно бы сгиб, но потреблять «гостинцы» ему пособляют штатные рыбаки Юра с Гохой да еще дед Ромашка. Собственно, зимовье из черных поколотых бревен — принадлежность рыболовецкой бригады. Васе Горбуну зимовье отдано под жилье по доброте душевной. Это зимовье и сам Вася Горбун как бы навечно приросли к берегу Арея, покрылись мхом-тиной. И будто вместе они родились на горном хребте — озеро и Вася Горбун.

А озеро древнее. Происхождение его загадочно. Сле-

дов действия вулкана поблизости нет, нет и высокой горы, с каких в ледниковый период скатывались мегатонные куски льдин, выдалбливая кары-ямыны под озера. Арей-озеро будто бы творение рук человеческих. На южном берегу — избушка Васи Горбуна, на противоположном, северном берегу отчетливо заметен песчаный вал, не позволяющий водам Арея упасть в низину, в покать. И будто бы вал этот сыпали толпы татар, Чингисовы орды. Из монгольских степей, говорит легенда, конники Чингисхана ринулись на запад, к Байкалу, шли они долиной Ингоды, а потом речкой Танга и поднялись на Арейское плато. Тут они увидели тридцать четыре целебных источника от тридцати четырех болезней. Личный лекарь предводителя подтвердил всесильность воды. Источники соединялись в маленькой котловине, кружили там и речкой сливались в пологую падь. Кривоногие Чингисовы конники почти все поголовно мучились ревматизмом, лишаями и гнойными ранами, так что свалка возле чаши с целебной водой была неминуемой. Тогда хан приказал всей орде таскать в кожаных ведрах песок и насыпать вал, который бы запрудил речку. Озеро получилось настолько громадное, что места для купания в священной целебной воде хватило всем тумэнам. За многие столетия песчаный вал зарос могучими соснами, угрюмом, кедрами, но действительно, он очень похож на искусственное сооружение. Мягкой хвоей, похожей на длинные зеленые волосы, мохнатится кучка кедров, и в этом месте вал узок, а откос страшен и крут: развороши бульдозером песчаную перемышку и воды Арея с грохотом полетят в покать. Юра-рыбак и Вася Горбун любят показывать это место туристам. Однажды старичок-географ указал им на господствующее направление ветра: дескать, это ветер и весенние льдины накатали вал. Но Васе Горбуну приятней думать, что отсыпкой вала занимались татары.

Арейская вода шелковиста, мягка и прозрачна. Глубины ее источают прохладу, лучатся донным сине-зеленым светом. В центре озера крутится грибом еле заметный белесый дым, и вода здесь, имея особую мощь, как бы наплывает опупком, бьет со дна сильный радонный ключ.

Наискосок от избушки Васи Горбуна в кочках и непролазной чащобе тоже выходит из земли целебный род-

ник, вода которого очищает глаза, снимает трахому. Малообразную коричневую грязь берут недалеко от этого места, но Вася Горбун утаивает грязевый источник. С черпаком на длинном шесте он выплывает за грязью в сумерках, после заката. Собственно, физически немощный Вася сидит в лодке так, для прилику: грязь (не легкая работенка!) достают со дна рыбаки Юра с Гохой. Сочная коричневая грязь несет с собой запах донного холода, йода и старых отмерших водорослей.

— Туристы! Их здесь тысячи! — шепчет Вася Горбун. — Нельзя показывать! Было еще одно место, но его загадили, набросали туда жестянок, ведер, веревок, проволоки. Источник заглох. Тутешние места любят нежность и обхождение. А не у всех руки-то правильно воткнуты!

Грязевые донные источники остались теперь в двух противоположных углах озера, как бы по диагонали. И — странное дело! — сфероностоки, водяные яблоки, тоже растут в двух противоположных углах Ароя. Если прочертить диагонали между грязевыми источниками и донными «огородами» сфероностоков, то эти диагонали схлестнутся крест-накрест.

Рано утром, когда тысячные толпы туристов (на берегах Ароя две турбазы и два спортивно-оздоровительных лагеря) дрыхнут в своих палатках, гладь озера лежит ровной глянцевитой пластиной. В зеркало ее глядится высокое небо, чуть подкрашенное соком зари. Свежестью, силой жизни пропитаны вода и воздух, каждая травинка и каждый куст. Один только вид озера наполняет душу и тело покоем, уверенностью, надеждой. А вода?! В светлых ее наливах таинственно качаются водоросли, похожие на птичьи перья. С виду вода кажется тяжелой, жестоко-холодной. Но, едва окунешься, по телу прокатывается несказанная благодать. Днем пить сырую воду брезготно (у берега полощут свои струпья и язвы больные свищами, экземой, губительным кожным грибком), но сейчас я черпаю воду пригоршнями и пью вдосталь. Вода, срываясь с ладоней, падает на гладь озера и гулко звенит в тишине утра. Пальцы ног щекочат вьюны и маленькие синявки, карасикарлики. Стою по грудь в воде. На той стороне кварцевыми песками белеет «чингисов» вал, топорщатся мощные древние сосны, сучья которых похожи на изломан-

ные мохнатые крылья. Где-то там, в правом углу озера, на замшелом дне растут таинственные сферопостоки. Я так и не мог понять: на чем и как растут водяные яблоки? На их глянцевиной темной коже нет ни малейших следов корней, черенков или присосок.

Вася Горбун выходит из зимовья и тоже пьет озерную воду, черпая ее жестянкой.

— Любую заразу убьет,—объясняет он.—Пей, не бойся. Я только и спасся этой водичкой. Весь погнил было, только благодаря водичке этой живу.

Лицо Васи Горбуна делается светлым и как бы вбирает в себя утреннюю свежесть Ароя. Колечки русских кудрей спадают на его лоб, синие глаза перекликаются цветом с чистым высоким небом, слегка разглаживаются складки морщин. Для туристов и наезжан-дикарей Вася Горбун представляется придатком Ароя — вроде той кряжистой коряги под обрывистым берегом, где весь день стоит полутьма от высоких кустов ольхи, или вроде того Духа, которым когда-то молились язычники. Но сейчас вдруг подумалось, что и Вася Горбун был когда-то красив и молод. Подошли две старушки на слабых ревматических ногах, одна из них попросила грязи.

— Иди, моя, возьми, сколь тебе надо,—махнул Вася Горбун на распахнутую дверь зимовья.

Показалось, что вторая старушка прячет под ситцевым запаном бутылку водки.

— Это что же там с ними дется? — махнул рукой за таежные дали Дух-озера.—Водка у них в хождении наравне с деньгой-золотом или как? Или уж я сам похож на такого страшного лешака, которого надо ублажать зельем?

Я еще в первые дни заметил, что Вася Горбун за свой труд ничего не просит и ни от чего не отказывается. И сейчас он ничего не сказал старухе, которая выпростала из-под запана бутылку, кивком головы дав понять, чтобы она оставила ее в зимовье.

— Тяжело! — сказал Вася Горбун.—Хоть бы курорт открыли тут — специалиста пришлют по грязи. Я бы тогда на спокой ушел.

Но по многочисленным архивным бумагам я знал: курорта на Арее не будет. Ученые экспедиции и комиссии начиная с 1769 года писали в своих заключениях: «Арейские грязи, водоросли, кварцевые пески, воды при-

брежных источников и вода самого озера, в которой содержатся натрий, кальций, магний, хлор, радиоактивное серебро, радон, йод, железо, обладают целебной силой, но создание санатория на Арее нецелесообразно ввиду незначительного запаса целебных грязей и водорослей, ввиду короткого теплого периода (один июль), а также из-за удаленности от главных дорог». Только один врач, восторженная Анна Бек, посетившая Арей в 1916 году, высказала предложение открыть на Арее санаторий. Подобно конникам Золотой Орды, весь путь от Читы до Арея (230 километров) Анна Бек одолела на лошади.

В палатках проснулись туристы. Начинается возня у воды, рыболовы-любители отталкивают от берега плоты, лодки. Палатки туристов-дикарей спрятаны в глубине леса — дым костров путается в хвое сосен и лиственниц: варят завтрак. Возле зимовья устраивается очередь, Вася Горбун наделяет жаждущих здоровья дарами озера. Рассказывает, как правильно пользоваться грязью, водой. Старичок-бурят, глаза которого вывернуты трахомой, спрашивает про глазной ключ. С этим старичком Вася Горбун особенно ласков:

— У меня еще хуже с глазами было. А теперь я стал, как орел!

Если Вася начинает сравнивать себя с орлом, значит, он успел откусать «гостинцев». На столике поблескивают бутылки, одна из них наполовину пуста.

Из поселка приходят рыбаки Юра и Гоха. Бросают на дно плоскодонки невод. Будет рыбалка.

Мы с Юрой садимся в лодку, Гоха и Вася Горбун идут берегом. Плыдем под темный ольховый обрыв — там держится щука, да и туристов меньше. Вода переливается, колышется за кормой. Переливы ее чисты, и даже на глаз видно, что это не обычная, не простая вода. Дыхание освежают глубинный холод и запах йода. Нити колючих с виду водорослей качаются в глубине. Подумать только: целое море минеральной воды!

На песчаной косе стоят грузовые автомобили. Капот одной машины открыт, шофер копошится в моторе. Словно кровь на рубашке, под которой свежая пулевая рана, на песке ширится темное пятно. Шофер, очевидно, сливает на берег отработанное масло. Вася Горбун коршуном налетает на этого шофера, начинает кричать, машет руками.

Неподалеку от озера строится мощная автострада. Но и на старой дороге густо пылят колонны автомобилей, идущих на Чикой, Хилок, Петровский завод. Старая дорога проходит по касательной к озеру, и каждый водитель норовит отдохнуть на Арее. Земля в этом углу плотно утрамбована колесами, залита маслом, в воде возле берега валяются железяки, круги негодной автомобильной резины.

— Народу здесь тысячи,— говорит Юра,— а охрана озера налажена плохо.

Вася Горбун шумит на шофера, Гоха стоит руки в брюки, делает вид, что это не его дело. Глядят с бугра на воду глазами-окнами реденькие домики старого Арея (новый поселок в стороне, за полосой леса), темной ботвой зеленеет в огородах картошка. Юра-рыбак рассказывает: было у Васи Горбуна свое хозяйство, дом был, но Вася Горбун пустил хозяйство по ветру, а дом отдал на слом в соседний поселок: вроде, уезжать надумал. Он смотреть не мог на строительство туристских баз, на толпы организованных и диких туристов, которые, как ему казалось, вели себя одинаково дико: рубили на берегу деревья на дрова и палаточные колья, выливали мыльные остирки в священную арейскую воду, оставляли в лечебном песке стекло битых бутылок. Вася Горбун помнил берега Арея девственными: на той стороне, где сейчас стоит турбаза «Кристалл», плавали дикие гуси, купались лоси и трубили изюбры, воздев морды к небу и вытягивая вдоль спины длинные ветвистые рога. Теперь под каждым кустом табунились туристы, и Вася Горбун предвещал Арею беду. Чтобы не видеть гибели озера, он и надумал уехать.

И когда растащили хозяйство Васи Горбуна, а дом разобрали на бревна и увезли, Вася напился, упал в кусты и плакал, жалея Арей. Всю ночь он ходил по берегу, слушал свист одинокого кулика, и так решил он в эту ночь: уезжать ему с Арея нельзя! Будет он тут жить до конца своих дней, но по мере сил и возможности сохраняя озеро. Но дома-то у Васи Горбуна уже не было, рыбаки из жалости отдали ему под жилье зимовейку с одним маленьким оконцем и земляным полом: «пустили на фатеру».

Лодка уткнулась в песок. Расправляем невод, Юра подвязывает веревки. Вася Горбун, видать, усовестил

шофера, в целях перемирия водители угощают Васю Горбуна и Гоху. Звякает и блеснит стекло. Вокруг нашей лодки толпятся туристы — добровольные помощники. Не дожидаясь Гоху, делаем первую тоню. Плоскодонка делает полукруг и, оставляя за собой цепь темных точек, возвращается к берегу. Идет невод трудно — гребет водоросли. В сетчатой мотне и крыльях накачивает зеленые копны. Вода ласкает босые ноги — таскать невод в такой воде одно удовольствие.

Туристы раздирают клубки водорослей, обирают рачков-бокоплавов, похожих на больших блох. Это — бормаш, для наживки. Нити водорослей густо утыканы узкими упругими листиками, похожими на пихтовую хвою. Из клубков вместе с бормашем вылетают синявки, караси-карлики. По крайней мере они очень похожи на карасей. Размером вдвое меньше спичечного коробка. Из животов синявок мальчишки выдавливают больших белых червей и тоже используют для наживки. Размером плоский тягучий червь больше самой синявки, и диву даешься: как он умещается в ее животе? Не по вине ли этого червя-паразита рыбка с течением веков превратилась в карлицу? Червь, несомненно, вытягивает из синявки все соки. Подошла мотня. Ярятся золотисто-зеленые шуки, хлобыщут водой. Юра кидает щук на дно плоскодонки. Собирается толпа — смотрят, суют Юре деньги, просят рыбы. Юра — человек безотказный, но и план выполнять надо: зверопромхоз дает ему план на рыбу. Старуха в старинном цветном сарафане властно сует в руки Юры рубль, влажный от пота ладоней, и просит щуку:

— Одну мне, сынок, одну! Всего одну щучку!

Боясь отказа, бабка сама лезет в плоскодонку и торопливо, почти с вожделением хватает небольшую щуку, жадно прижимает ее к груди наподобие священного амулета. Юре смешно, он берет самую большую щуку и подает бабке.

— Не! — отрицательно трясет головой старуха. — Мне такую надо! Зять у меня пьет, осатанел совсем. Арейская щука будто хорошо пособляет от запоя, если ее живмя опустить в водку, настоять, а потом хорошенько угостить настойкой выпивоху. Спасибо тебе!

— Вот Васе бы с Гохой такой настойки, — хохочет Юра.

При активном участии туристов мы еще делаем двести тонн, а потом невод начинает барахлить: крылья его закручиваются веревкой, мотня ничего не приносит, кроме водорослей. Берег обрывист, неловок. Невод приходится разбирать на узкой песчаной полоске или совсем в воде. Нестойкой походкой пришел помогать Гоха. Вася Горбун, однако, не смог пробиться сквозь кордоны гостеприимства. Его зазывали в тень деревьев на хлеб-соль, заманивали в палатки и везде подносили стаканчик. Вася Горбун давал подробные инструкции на предмет пользования грязью, горячим песком, водяной картошкой. Странно себе представить, что Вася Горбун жил когда-то в поселке обычной крестьянской жизнью, имел дом, хозяйство и семью. Но Гоха как раз и напоминает об этом, ворчит:

— Чего ради старается? Они же его уродом сделали...

Гоха намекает на какую-то давнюю трагедию, которая поломала Васю Горбуна в юности. Вовсе не горбуном, а статным красавцем был Вася: лицо каленое, кольца кудрей на высоком лбу, открытые глаза цвета весеннего небушка. Но повредил парень ребра, сделали ему врачи операцию, а после этой операции — не то по злобе, не то по глупости — почти насильно угнали его на лесозаготовки. Там он будто бы поднял тяжелое бревно, свернул себе позвоночник, и с тех пор стал Вася на всю жизнь горбатым. Испортилось у него все внутри, а синие глаза подернуло бельмом-катарактой.

Жара накаляет воздух. Юра с Гохой уходят домой обедать. Я запекаю в песке щуку, разложив маленький костерок. Вкус арейской щуки особый — она напоминает мясо лосося. Вся насквозь она пропитана йодом.

За оврагом, в низине, расположилась лодочная станция. В тени лиственниц и ольховника выбита глубокая тропа. За поворотом обрыв берега кончается — начинается «чингисов» вал. К берегу примыкает широкая отмель с бархатным илистым дном. Вода здесь прогрета до температуры чая в пиале — излюбленное место купания детей и старичков-ревматиков. Едоки сфероностов тоже тянутся к этому месту: как раз напротив отмели донная плантация водяных яблок. Их достают с лодки с помощью сачка из марли или легкой сетки. Аквалангисты ныряют за ними. А иные, стоя по горло

в воде, шарят по дну ногами, приноравливаясь ухватить яблочко пальцами ног.

Говорят, что сфероностоки растут на тех самых ветках, которые напоминают птичьи перья. Но Вася Горбун утверждает, что они заводятся сами по себе, нарастают, круглеют, лежа в белесых водяных мхах. Аквалангисты утверждают, что так оно и есть будто бы.

Я раздеваюсь и тоже забредаю в воду. По топкому слою ила тучами ползают вьюны, оставляя за собой дорожки-канавки. Стоя по горло в воде, удержаться на ногах трудно: так и норовит тебя подбросить вверх. Но я все-таки умудряюсь поймать пальцами левой ноги несколько мелких и два крупных яблока. Такое впечатление, будто ешь мармелад, в который забыли положить сахар и специи. Большие зрелые яблоки внутри имеют белый твердоватый комок, и от этого своим срезом яблоко напоминает бычий глаз с бельмом посередине.

По утверждению Васи Горбуна, эти яблоки несъедобны: их обычно кладут на раны или мозоли. Но и мелкие следует есть очень немного. На памяти Васи Горбуна был случай, когда больной желудком съел целую кастрюлю водяных яблочек и по дороге в больницу умер «от ломоты в брюхе».

Могучие меднотелые сосны лепятся к самому краю песчаного вала. Крыльями распростерты их кривые сучья. Корни обнажены штормами и ветрами. Такое впечатление, что сосны готовятся улететь, как гуси, которых было множество когда-то у арейского берега.

В сторону тайги вал обрывист и крут. Топорщатся ветки дикун-травы, сплетаются непривычно огромные кусты багульника, темнеет прихотливая резьба листьев угрюма. Длинные корни угрюма телефонными проводами оплетают песок вала, оберегая его от разрушения.

Далеко внизу маячат замшелые кочки, ерник, колоды, пестрят стволы берез. Юра-рыбак прав: копни бульдозером, и вода хлынет в кочкастую сырую падь. Боязно смотреть туда, вниз... Купальщики нежатся на песке. Древние деревенские старушки, которые у себя дома стесняются пройти по улице в платье без рукавов, разгуливают в нейлоновых плавках — продляют жизнь. Старик-ревматик зарыл в песок внука по самое горло, себя окапывает лопаточкой: прогревает старые кости песочком. Искрятся стеклистые зерна кварца.

**Уезжающие** нагребают песок в мешочки, чтобы увезти домой: не то для лечения, не то в качестве сувенира. Утекает арейский песок в Казань, Благовещенск, в Лугу, что возле Новгорода.

Вчера женщины из Вологды одаривали Васю Горбуна ласковыми словами, щекотали самолюбие лестью:

— Тебя на том конце земли знают. Вологда — вон где она! А там наши знакомые говорят: как приедете на Арей — Васю спросите. Вася вам все сделает — человек он хороший со всех сторон.

Вася Горбун зацвел репешок-травой, обещал отворить бабам все блага и тайны Арея. Ты смотри-ка, и правда знают его во всех концах земли! Отовсюду едут на Арей люди.

— Из мертвяка Арей меня человеком сделал! — опять пьяненько хвастал и тряс колечками светлых кудрей Вася Горбун. — Орленок теперь, чисто орленок...

А уж какой там орленок! Сапоги растоптаны, штаны свисают мотней, пиджак сидит наперекосяк, складки щек вожжами стягивают лицо.

В лодке (выбираем рыбу из бригадных сетей) Юра-рыбак рассказывает:

— Вася-то мать сильно жалел. Мать у него умерла в войну, жалел ее и сам едва не кончился от жалости.

Юра-рыбак приподымает завесу над главной загадкой Васи Горбуна. Был статный паренек Вася, красавец на всю деревню: «С радости-веселья хмелем кудри вьются!» Но война пришла, обернулась она для далекой таежной деревни голодом и непосильным бабьим трудом. Не то от надсасы, не то от болезни какой умерла Васина мать (они тогда не здесь; на Чикое жили), а была это поздняя осень, ворота зимы. Вася жалел мать, плакал: солнце, земля и небо даны человеку для радости, а смерть рука об руку с дурью ходят, горе-беда! Мороз сильный в ту ночь ударил, бабы обряжали мать, а Вася упал на земляной пол завозни — рыдал, плакал. Он, видимо, плакал всю ночь, а к утру уснул на мерзлой земле, весь заледенел грудью. Здоровье у Васи, видимо, было немалое, остуду легкие выдержали, а вот ребра в боку стали с той поры гнить, врач их вырезал, а потом Васю придавило недетской работой, и стал он горбатым. Будто бы послали его на лесную работу — таскать бревна, и там он надломил себе поз-

воночник, хотя сам Вася Горбун это начисто отрицает: не было никаких бревен! Никто его, больного, не посы­ лал силком на лесные работы.

Может, и правда не было никаких бревен, а может, Вася Горбун не хочет помнить плохое о людях. Бревен, говорит, не было, а все остальное было: гнил он весь заживо, и глаза сделались темные, пеленой их закрыло, и отец привез его с Чикоя на Арей, да тут и окопались Федотовы всей семьей — единственно из-за Васи. Потому что озеро пособило Васе свет увидеть, уцепиться за жизнь. Тихое было озеро, вдалеке от больших дорог...

У бурят есть старинная загадка-триада: «Что три самых чистых в мире?» Испытуемый при этом должен так ответить: «Лазурь бесконечного неба чиста, вода священных озер чиста, глаза юной девушки чисты и безвинны». Там вот в тишине арейского вечера приходится на ум эта загадка. Июльская жара быстро сменяется холодом, который загоняет больных и туристов в палатки, к теплу костров. На берегах становится пустынно и тихо. Чистота неба открыто перекликается с чистотой воды — небо глядится в озеро, а озеро — в небо. И действительно, нет ничего чище воды и неба...

Вася Горбун сидит на старой перевернутой лодке, смотрит на воду и в небесные дали. И, возможно, он тоже думает о чистоте воды и неба. Для опоры души должен человек видеть перед собой неподдельное, глубокое, чистое. Без этого ничего нет — дым один.

Я подгребаю веслами, а Юра-рыбак выбирает щук, застрявших в сети. Щуки брусковидные, ровные — каждая величиной с полено. И вдруг среди этого однообразия ворохнулось некое темно-золотистое чудо: не то солнечный круг, не то самовар какой! Ворохнулось и темным медным огнем укатилось в глубины.

— Карась! — вспотел Юра. — Ух, ты, язва! Ушел...

— Разве тут есть караси?!

— Нету. То есть запустили сюда из Танги. Есть деревня Танга и озеро Танга. Ну, вы же видели по дороге? Только одни караси там и водятся.

Несколько лет назад, говорит Юра, колхозники из Танги любопытства ради привезли бочку с мальками карася и выплеснули в Арей: «Плодись рыбка больша и маленька!» Карасю Арей понравился. Он разжирел, вымахал величиной с корыто, заржавел от старости.

Приплода, однако, не дал: минеральная вода Ароя худо, видать, действует на карасиный приплод. А может, щурята и бормаш поедают икру новосела.

Протопали старички с огромными рюкзаками на спинах. Дед Федор и дед Миха. Старички пособляют лесничеству охранять на берегу Ароя лес. За лесом смотрят двое, а на воде Вася Горбун один, добровольец. Уж как-то так получилось, что районные власти забыли наладить досмотр за озером. С берега машет Гоха: пора плыть за грязью. Рыбу принимает Вася Горбун, несет в зимовье. Днище плоскодонки уставлено ведрами, тазами, кастрюлями. Весла колышут воду. Мерцает на берегу серебряный (катионы серебра!) «глазной» ключ. На корявой березке висят цветные кусочки ткани. Лоскутья вешают на ветки старушки-бурятки. С глубокой древности озеро Арей считалось у бурят святыней.

Оранжевые закатные облака опрокинулись в воду. На плечах Юры-рыбака бугрятся мускулы, когда он ворочает веслами. Не в пример сухопарому Гохе, Юра кругленький, сбитый. Юра-рыбак знает немало профессий, убежал с Ароя в город — обучал езде на тракторе студентов сельхозтехникума. Но не выдержал — вернулся к себе на Арей. Почему — сам не знает. Наверное, по той же причине: «Человек должен видеть перед собой чистое и глубокое». А работа у Юры на Арее неопределенная, трудная: зимой он уходит в тайгу на поиски соболя, белки. С осени добывает кедровые орехи. Вода Ароя очищает и лечит тело, утро Ароя лечит душу.

Первыми просыпаются рыбы, потом Вася Горбун. Или наоборот? По крайней мере, когда я приезжаю из поселка на озеро, Вася сидит на берегу и пьет из жестянки воду — летом он ничего не ест. Жестянка воды — вот и весь завтрак.

Затем на плотках и лодках отчаливают от берега удильщики. Они просиживают целые дни: купальщики кишмя кишат вокруг лодок — того и гляди кого-нибудь подденешь за нос или за ухо. И чебаки, сверкая полосками никеля, тут же выются, хватают наживку.

К полудню Вася Горбун раздает желающим арейскую грязь и водяные яблочки. Незвестный шутник написал на двери зимовки: «Меняю грязь на золото». Собираются Юра с Гохой, дед Ромашка, лесная охрана

в лице деда Федора и деда Миши. И много неизвестных. Уха кипит в большом черном котле. На правах хозяина Вася Горбун наливает в стаканчики, потчует ухой:

— Ешьте хорошенько! Мне-то еда не идет летом.

Дед Ромашка трясет запущенной бородой:

— Вечный праздник пополам с горем!

И правда, жизнь вокруг замшелой избы Васи Горбуна похожа на грустный праздник.

Позади зимовья на бугре Юра-рыбак показал темный квадрат крапивы, в которой проглядывались остатки фундамента. Место, где стоял дом Васи Горбуна. Жена была, дети, хозяйство, а сейчас Вася Горбун уподобился бесплотному духу. Вот, оказывается, летом он не ест ничего! Зимовейко растерянно смотрит мутным глазом окошка на новую жизнь озера.

Орут лодочные моторы спасательных катеров, спортсмены вереницами бегают вокруг озера, сверкающие от обилия стекла и никеля легковые автомобили толпятся на берегу. Голосят (каждый свое!) транзисторы, маячат в кустах цветные палатки, женщина-экскурсовод в красных брюках водит по берегу толпу туристов. Мажутся грязью дети и старики, солнце накаляет кварцевые пески «чингисова» вала, шарят по дну пальцами ног ловцы сфероностоков. Маленький забайкальский Крым — Крым на один месяц июля! В августе, когда начинается период дождей, Сибирь становится обыкновенной Сибирью, волшебство природы кончается: землю секут холодные ветры.

Вася Горбун к вечеру напивается, плачет: жалеет озеро и людей. Кажется ему, что люди, несмотря на старания деда Федора, деда Миши и его собственные старания, вырубят по берегам лес, вытопчут кустарник и травы — сгинет Арей, как сгинули несколько источников по его берегам. Люди незаметно украдут у самих себя чудо-озеро, великое чудо. Подумать только: такая пропра народ! На этом дело не остановится: был вчера московский строительный начальник — выглядывал места для домов. Все сплошь, говорят, заселят туристами.

Караваны диких гусей давно пролетают мимо. Изюбы ушли в дальние отроги хребта. И только любопытные косули выбегут тихой ночью попить целебной арейской водицы. Дразнит их еле уловимый запах радона, йода и серебра, которым тянет с Арея.

Агафон Бутаков возвышался в санях лохматой копной. Его широченная доха и шапка из рыси, обросшая куржаком, лишали меня возможности смотреть вперед. Видавший виды промысловый конь пер нас прямо сквозь чашу. Сани, треща в сочленениях, ударялись о кочки и рытвины.

Стало немного спокойней, когда конь снова вышел в русло реки, несшей поверх льда цветную наледь: желтую, сине-зеленую, буроватую. Разноцветье наледи Агафон, двигая заледенелыми усами и бородой, объяснил мне так:

— Ить это ишо от того зависит, из каких каменьев ключ бьет в этом месте. Вот от этих каменьев и примат вода свой окрас.

Склон сопки, составляющий берег реки, был исчерчен следами волков. Волчьи отметины мы увидели почти у самой поскотины, и теперь они обозначались везде, где только открывалась видимая простыня снега. Казалось, что волков здесь тысячи. Однако Агафон, матерый таежник и зверобой, без труда расшифровал волчьи записи и заверил, что в стае всего семь хищников.

— Пошто они так рыскали? Ночь была шибко люттой, вот они и прогоняли мороз.

Верхушки корявых лиственниц качались в дыму наледи. Агафон вдруг весело обернулся, звякнул рядом сосулек, облепивших бороду:

— А ить у меня фатерант в зимовье живет. Барыню знаешь?

— Что-то я слышал такое. Будто бы к одному из охотников прицепилось прозвище Барыня. И еще слышал,

будто не любят его добытки: избушек этот Барыня рубить не рубит, постоянного охотучастка не держит и даже харчу не завозит в тайгу на сезон. Прилепится возле незлобивого одинокого добытки и живет зиму на шурмаках.

— Ну-ну! — смеется Агафон, блестя сквозь куржак огоньком своих добрых глаз. — Вот он и есть — Ванька Сидоров, по прозвищу Барыня. А ить пошто ему прозвание такое дали? Пушкину сдаст, все спустит на водку, топает ногой и ревет: «Барыня, барыня, сударыня барыня!» Будто песни другой не знает. А ишо присказка у него такая: «Эх, барыня!» Чо ни скажет, прибавит свое «Эх, барыня!». Вот нынче он ко мне присуседился, этот Ванька-Барыня.

Бокастый конь, весь белый от куржака, вынес наши розвальни из наледи, трусцой побежал по твердому. Окованные железом полозья с визгом резали снег, лежавший поверх льда реки. Волчьи следы вились, то сплетаясь, то расплетаясь. Вдруг Агафон остановил коня, концом кнутовища показал на совершенно свежие оттиски волчьих лап, сбегавших с берега.

— Сытые шли, — сказал Агафон, скидывая на сани доху. — Кого-то задавили на завтрак.

— Косулю загнали, наверное.

— Да нет! Покрупнее чо-нибудь.

Мы прошли немного по следу. Волки были настолько сытые, что один из них волок в зубах кусок мяса. Между колодиной и кочкой он лег и лениво доел добычу. На снегу остались клочья изюбровой шерсти.

— Ить они его с камня спихнули, с отстоя. Знаю то место. Ишо дед мой бил зверей на том камне.

Сквозь лес пахнуло печным дымом.

— Барыня в зимовье сидит, чай варит.

Смеясь, звеня сосульками, Агафон добавил с приливом наивного озорства:

— Я у саней замешкаюсь, а ты отворишь дверь и с порога крикни: мол, здорово, Барыня! Ить вот удивится! Незнакомый, и на тебе — знает Барыню!

Зимовье Агафона было объемистым и широким, под стать Агафону. Скатанное из хорошо ошкуренных бревен года полтора назад, оно еще не утратило желтизну стен. Возле дверей на толстых спичках висели ружья: карабин, дробовик и легонькая двухстволка под мало-

калиберный и дробовой патроны. Открыв дверь, я увидел долгоносого человека, на кукурках сидевшего возле печки. Он, похоже, не удивился моему появлению. Уныло, без интереса, спросил:

— Ты с Бутаковым приехал? Какие новости?

Я сказал, что в Дыгдыр пришли волки и что недалеко отсюда они задрали изюбра. Барыня равнодушно цвиркнул слюной в огонь и снял с печки закипевший чай. В зимовье сильно пахло одеколоном.

— Ого! Ванюха чай сварганил! — закричал из дверей Агафон, внося с собой морозное облако. — А мяса пошто не варил?

— Да я не знаю... Без хозяина как в лабаз пойдешь?

— Фу ты! — хохотнул Агафон. — Леня твоя вперед тебя родилась.

Агафон схватил топор, побсжал в лабаз. Тем же топором он настругал изюбрядины на чугунную сковородку, толкнул ее на раскаленную печку.

— Охотничать? — осторожно спросил меня Ванька-Барыня, когда мы сели пить чай.

— Не! — с простодушной радостью сказал Агафон. — Это районный фотограф. Он кулемки моего изобретения будет сымать на карточки. Ишо третьего года гостил у меня ученый охотовед, теперь книжку пишет про мою охоту. Карточки ему надо.

— А-а, — сказал Барыня, уныло окуная в кружку свой длинный нос. — Я думал — охотничать. Я уж было сыматься надумал. Втроем будет тесно на участке.

Трудно было представить, как этот сухопарый, унылый человек может ходить по деревне с песнями и пляской. Говорил и слушал он без всякого интереса, отворачивая долгоносое лицо к окну.

— Идмедями наш гость шибко интересуется, — сказал Агафон своему квартиранту.

По дороге я действительно спрашивал Агафона, нет ли поблизости медвежьей берлоги.

— Медведя нынче вовсе мало осталось, — сказал Барыня, оживляясь.

Казалось, что в его теле усилился кроветок. Морщины разгладились, на щеках заалел румянец, глаза смотрели твердо и весело.

— Это мы шишковали в Кабаньем, Миролюба Данилова знаешь? Вот с ним. Эх, барыня! Держу я в руках

колот. Только я кедру ударить нацелился. Миролуб забазлал, как зарезанный: «Медведь!» Пугает, думаю. Нашел, дурень, время шутки шутить! А он, медведь-то, уже на дыбы поднялся и прямо из ольховника на меня прет. Передними лапами у рта сучит, гурчит, пена ошметьями с клыков брызжет. Миролуб кинул мешок с шишками да на дерево скорей белки. А у меня ни топора, ни ножа в руках. Только колот в руках и есть. Эх, барыня! А он, медведь-то, чуть когтем меня не грабает. Размахнулся я — да колотом между глаз! Он и чебурахнулся в листья бадана. Враз очумел. А тем временем Миролуб скатился с лесины, топор за спиной нашарил. Только глянули мы — а на шее-то медведя ошейник! Из дома, значит, улег. После узнали: еланский лесник потерял ручного медведя...

— Ну, а у вас-то что дальше было?

— А ничего. Очухался медведь и ушел. Он, видимо, есть просил, когда сучил лапами возле рта. А другорядь я белковал в Сорочихе. Снег рано вывалил. Пристал я шибко, а тут целую копну моха увидел. Плюхнулся отдохнуть, понягу с плеч скинул. Спичку чиркнул, чтоб закурить. И тут как он заревет на той стороне копы! Эх, барыня! Медведь-то... Я свой карабин — цоп!

— Да разя с карабином белкуют? — со смехом перебил Барыню Агафон.

— Мне тот год лицензию давали на сохача. Мало-пульту с собой носил и тот карабин. Карабин — цоп. Ну и влупил в него все пять патронов. Эх, барыня! Оказалось, он место для берлоги обляживал. С тех пор в жизни такого медведя не видел: голова с телегу. А сало на нем было толщиной в две ладони.

Агафон тоже взялся рассказывать всякие случаи. Медвежьи страсти-мордасти сыпались ворохами. Однако было уже близко к утру, и стали готовиться на ночьлег.

— С ним ляжешь, — сказал мне Агафон, махнув рукой в угол Барыни.

Нары у Агафона были узенькие, а сам он широкий. У Барыни наоборот: сам тоненький, как бревнышко, а нары в десять драниц — трое улягутся. Только смотрю, что-то очень чудно ведет себя мой сосед. Соболей замотал в красную тряпку, сунул себе под подушку. Потом вышел за дверь, ружье снял со спички. Кладет

ружье рядом с собой под постель. А сам свой долгий нос все в окошко воротит, и опять доспелся каким-то скучным, увял весь.

Оттого, что он ружье под бок сунул, мне стало неловко. Запугал он себя рассказами о медведях или опасается, что я украду его соболей?

— Ваня, а ты ружье-то пошто в постель суешь? — с тихим смешком в бороду спросил Агафон.

— Не запотело чтоб. Чистить завтра буду.

Утром мы снарядились с Агафоном на обход путей. Барыня вытряс на рваное одеяло из красной тряпицы. Пересчитал: шкурок как было пять, так и осталось пять.

— Еще семь добуду, и я оправдался! — сказал Иван. — Тогда живи и радуйся до следующей осени. Эх, барыня!

Он даже ногой притопнул, обутой в худо залатанный ичиг.

Мы вышли из зимовья в туманный полумрак. Дыгдыр напротив зимовья за ночь тоже прорвало, и над ним тек дым наледи. Пришлось огибать взъярившуюся реку по ернику. Однако скалистый бок сопки скоро спихнул нас в наледь Дыгдыра. Агафон велел мне наморозить на валенках корку льда, отчего валенки стали непромокаемые. Ему-то, Агафону, не в диковину было топать через наледь. Голенища яловых ичигов на ногах Агафона были крепко стянуты ремешками возле колен.

Волков выше зимовья не было. Когда мы одолели наледь, по реке потянулось чистое полотно снега, робко прошитое следами колонков и лисиц. Справа по кручам веселыми островерхими стогами лепились кедры, слева в сумном сивере чернел листвяк.

— Ить всю ту боковину я Ивану отдал, — махнул овчинной рукавицей Агафон в сторону сивера. — Наруби, говорю, кулемок и владей пожизненно. Не хочет рубить. Железками ловит. Ему, видишь, хлопотно. Даже не пошел на мои путики посмотреть, как я кулемки ставлю. А потом меж себя балаболят: Агафон Бутаков — куркуль. Чураются Агафона. Дескать, забогател — по пятьдесят соболей на сезон ловит. Участок, мол, у него легкий. Куркуль, говорит. Богач и водку совсем не пьет. А никто не пришел посмотреть на мои кулемки.

Агафон откровенно радовался, что ученый охотовед заинтересовался его работой. Был он стар, а дети разъехались по городам. Некому передать итог своей жизни — таежный опыт.

Кулемки Агафона действительно были хороши своей несложностью: кусок капроновой жилки, бревешко вдоль колодины, тонкий сучок, к которому подвязана «жилка». Фотографируя его ловушки, я подумал, что действительно «все гениальное просто». Путики Агафона были тоже строго продуманы: они легки по тайге в виде громадных восьмерок. В «талиих» и в вершинах колец каждой восьмерки стояло по зимовью.

Обход путиков длился меньше недели. Мы нашли в ловушках четырнадцать соболей — почти втрое больше того, что прятал у себя в изголовье Барыня.

Возвращаясь на главный табор, мы не увидели дыма над зимовьем. У входной двери пурга намела сугроб. Отвязанный конь разгуливал по ернику. Агафон крепко выругался: обычно его «фатерант» успевал обежать свои капканы без ночлега, обыденкой.

Теперь же он не появлялся в зимовье дня три. Вода в ведре превратилась в лед, заеденная буханка хлеба, лежавшая на подоконнике, стучала, как деревяшка. Мы не знали, что и подумать, пока в сковородке с застывшим салом не увидели клочок грязной бумаги. На нем было кое-как нацарапано: «Свой личный сезон закончил. Агафон, не будь лень, собери мои капканы. Ванька-Барыня».

Агафон задумался. Потом спросил, отдирая с усов и бороды сосульки льда:

— Да ты сказывал ему про волков-то?

— Не помню. Хотя, нет: я сказал, что ниже зимовья они задрали изюбря.

Агафон шлепнул об пол рукавицами и с хохотом опустил на доски нар:

— Тю, язви ты в почку! Ишо дорогой в санях подумал: не надо ему про волков сказывать. А тебя мне невдомек упредить! Барыня-то волков как огня боится. То-то он ружье под постель совал на ночь, в окошко зыркал. Фершал наш сказывал: у него, мол, комплект малоценности от тех волков.

— Ну, как же? Он все про медведей рассказывал, хорохорился.

— Брешет! — опять захохотал Агафон. — Он за всю жизнь одного идмедя не добыл. А волков он сильней холеры боится: ишо дитем он от них отбивался на стогу сена во время волчьей свадьбы. С тех пор мертвеет весь, едва про волка услышит. Он тут одну ночь без нас перемыкался и пятки смазал.

Агафон оставался в тайге один. Мое время, отпущенное начальством на эту поездку, кончилось. Агафон поручил мне согнать коня вниз, в поселок. Обязанность эта была приятной — не пешком ведь топать! Я уложил свое имущество, надеясь выехать на рассвете. Однако нескладный Барыня и тут все перепутал.

Мы раскопегарили печку, накачались черным, как деготь, чаем и легли на нары, блаженствуя в горячих потоках воздуха. Гудящая печка сделалась от лиственных сухих дров багровой. Агафон смущенно поскреб бороду, произнес:

— Не было печали — черти накачали. Ишо тебе обождать придется. Денька два-три. Завтра пойдем на путики сымать струмент Барыни.

Я молча вперил взгляд в закопченный угол, где от потока теплого воздуха колыхались паучьи тенета. Лицо у меня, наверное, сделалось багровым, как печка, в которой гудели дрова: не люблю менять своих планов.

— Да плюнь ты на этого Барыню! — сказал я.

Агафон возразил вполне резонно:

— Ить дело-то вовсе не в Барыне. Железки его обязательно соболей защелкнут, а соболей рысь или ро-сомаха порвет. Или мышь пострижет. А ить не по-людски это: дать сгибнуть добру.

Крыть, как говорится, было нечем. Помолчав, Агафон выставил следующий довод:

— Я бы один его ловушки забил, да Барыня напраслину разведет. Брехать по деревне станет: Агафон, мол, пять соболей взял на его путиках, а отдал двух. А может, там и всего-то один какой зачумленный. Мы с тобой вместе-то вроде комиссии будем.

Утром, просыпаясь, я понял, что Агафон сильно рассержен. На раскаленной печке урчал и подпрыгивал кипящий чайник. Точно так же кипятился и урчал Агафон.

— Что такое? — поднялся я. — Случилось что-нибудь?

— Ишо не случилось? Ить он, зараза кособокая,

ружжо унес. Карабин казенный, который на мне.

Вместе с карабином исчезла из лабаза гуранья доха. Теплая и легкая — едва ли тяжелее горсти сухого мха. Но доха — полбеда, а за промхозовский карабин Агафона могли потянуть к суду. По инструкции, уходя на обход ловушек, охотник не должен оставлять нарезное ружье без присмотра.

Казалось, теперь-то уж Агафону не до соболей, притом чужих соболей. Но мы оделись и пошли месить снег на путиках Барыни, похожих на загогулины. Зернистый снег лежал грузно, сугробисто. С кедровых веток срывались на наши спины и шапки кухта. Мороз был не меньше сорока, но мне стало жарко. Агафон сказал, утешая не то меня, не то себя самого:

— Он, конечно, трепло, Ванька-то Сидоров, но мужичонка он честный, не корыстный, не вор. Сдаст карабин на склад. Он ведь его с испугу унес: дескать, от волков дорогой отбиваться стану.

— А доха-то ему зачем?

— Черт его знает, — с добродушным смешком сказал Агафон. — Может, знобит его со страху.

Снег на сопке коробился от обилия колодин, наваленных буреломом крест-накрест. По-заячьему петлистый след Барыни тянулся в самую гущу ломатчины. Системы в расположении путиков никакой не было. Похоже, Барыня полагался не только на интуицию, чутьем угадывая соболей переходы. Но капканы он подрезал под след мастерски. Агафон это отметил сразу, спустив пружины первых капканов. Соболей в них не было. И только в Кабаньем ключе мы обнаружили снаряд с добычей. Соболек будто спал, свернувшись на стальной пружине калачиком. Агафон потряхнул рукавицей снежную пыль, и мех сразу засиял, топорща прямые остинки-лучики.

За Кабанным работа наша и вовсе сделалась незавидной. Путики завалила пороша, а местами след вообще скрывался под целиком. От Кабаньего Барыня повернул назад, так и не завершив свой последний обход. Может, он увидел здесь волчьи натопы, а может, торопился вернуться на зимовье засветло, гонимый боязнью встречи со стаей хищников, которых давненько не было в этих местах.

— Ишь ты, втемяшилось человеку! — сказал Ага-

фон.— Это в городе я боюсь: машиной тебя задавит или облапошит кто. А в тайге бояться ково? Волк, он нынче пошел особливо грамотный. Он человека за километр obeжит.

Лицо Агафона совсем закуржавело, ледяшки стянули бороду и усы. Я старался не докучать ему разговорами, шел молча. Едва различая заваленный порошей путик, мы нашли еще одного соболя. Точнее — остатки соболя. Возле капкана развлекался какой-то хищник. Мы просеяли целый сугроб снега, прежде чем собрали все клочья того, что было соболем. Агафон, с трудом двигая мерзлым ртом, объяснил, что это хулиганила рысь. Она всегда вот так: есть соболя не ест, но изорвет всего на клочки.

Мы продирались через колодник весь день, имея во рту лишь запах снега и хвои кедрового стланика. Разжечь костер и сварить чай не было времени. Ненужная, дурная работа всегда раздражает. Несмотря на усталость, я бы сейчас, кажется, душу вытряс из этого проклятого Барыни, будь он рядом. Больше всего раздражало то, что Агафон укладывал пустые капканы в аккуратные связки и вешал на сук, надеясь на обратном пути забрать их на главный табор.

Стало уже совсем серенько, когда мы увидели под лиственницами, похожими на черные рыбы скелеты, кособокую юрту. Вместо печки в ней был только очаг из валунов, а на полусгнивших нарах белел снег, падавший сквозь дыры в крыше. Нас ожидало горемычное бдение в дыму и холоде. Барыня в этой юрте, очевидно, никогда и не ночевал, умудряясь obeжать свои путики обыденкой. Постели, дров, соли — ничего этого в юрте не было. Видать, есть у Барыни способности к марафонскому бегу, раз он успевал объезжать свой участок за день и вернуться к себе.

Рассказывать, как мы шуровали всю ночь очаг, боясь устроить в юрте пожар, нудно и длинно. К утру мне показалось, что я стал горбатым. Со злой ухмылкой я подумал, что так мне удобней будет нести железный груз — капканы, которые разбросал по тайге весельчак Барыня.

Однако Агафон все капканы сложил в один мешок и взвалил его на свою богатырскую спину.

— Нельзя бросать! — сказал он. — Ить мы теперь как

живем? Изба чья-то сгорела, может, даже совсем в другой деревне и области, а ты шшытай, что твоя и моя копейка в трубу вылетела. Или машину пьянчуга какой разбил. Всем на карман раскинут. Вот и Барыня думает, что казенный струмент в лесу бросил, а это он себя ограбил, и меня, и тебя. Чиже-ло жить, когда много таких вот бросальщиков-то во всех углах.

Внизу курился наледью Дыгдыр. На табор мы выбрались в полдень, а уже где-то в три часа запрягли коня. В сани Агафон бросил постель Барыни, капканы и трех соболей. Третьего Агафон нашел за той кособокой юртой, в пади Шандага. Это был дорогой (темный с проседью!) зверь, но бок его обгрызли мыши.

Косматый конь защелкал копытами по затвердевшей наледи. Агафон сопел мне в ухо сквозь бороду. Очевидно, он очень переживал за свой карабин. Возможно, Агафону мерещилось, что Барыня выкинул с карабином какой-нибудь фокус.

Но Барыня праздновал свое возвращение из тайги тихо и мирно. Информацию о том мы получили от первого встречного, едва миновали ворота поскотины:

— Гуляет Барыня. Ему чего?

В сумерках, будто кувшинки в синей воде, желтели огни домов. Агафон бегал из дома в дом, и везде одно: был, да вышел. А куда — неведомо.

Нашли мы Барыню в доме сапожника Алексеева. Горницу от прихожей отгораживала ситцевая занавеска, и за ней Барыня заливался, окруженный хозяевами, которые простодушно поразевали рты, внимая словам Барыни:

— Он же, Агафон-то, совсем дурной. Он же потакает волкам. Какие, говорит, они хищники? Волки, говорит, тайге пособляют держать зверя в струне, они, мол, только больных давят, заразных. Ить как он рассуждает, а? Сам, куркуль забогатевший, тайгу чистит — опять полсотни соболей принесет! — и волки грабастай зверя, сколь хошь. Но я не такой! Я его не стал слушать. Цоп в руки карабин Агафона да скорей вниз...

На скрип двери к нам вышла хозяйка, но я мигнул ей, ткнув Агафона в бок. Барыня продолжал:

— Вот я и встретил серых бандюг у Криуна, где большой талец. Эх, барыня! Вожака стаи я в секунду

срезал. Смертельно раненный, он как скочит вбок — я только один всплеск и видел!

— Да ну? — удивился сапожник, веря и не веря словам гостя. — Потерял ты, Ванька, премию!

— Три премии, — уточнил Барыня, — ведь я еще двух срезал. Но те оба были подранки. Идти-то я не мог вслед за ними. Это как скочил встречу им — ногу в лодыжке с прыти вывихнул. Ты, Алексеев, если хочешь заработать, вали туда, за Криун. Найдешь волков — премию на двоих поделим.

Я не смог выдержать — засмеялся. По следам мы видели, что Барыня бежал вдоль Дыгдыра без оглядки и передыху. Только как раз у Криуна, чуть ли не до инфаркта сморенный бегом, он бросил на снег доху и лег, чтобы прийти в себя. И тут же, видать, обедал — жевал сухарь. На снег насыпались крошки сухаря и шерстинки от гураньей дохи.

Агафон шагнул с насупленным лицом в горницу. Я думал, что он сгребет сейчас Барыню за грудки и вытряхнет из него дух. Но Агафон сдержанно поманил Барыню пальцем:

— Ваня, подь-ка сюда. Ладно ли тебе отдыхалось у Криуна? Волков-подранков не видел, а соболишек я твоих собрал. Я вот за карабином к тебе...

— А, е-ва, е-ва! — подскочил Барыня, выдернув из кармана бумажку.

Барыня весь завял, лицо его сделалось черным, будто окуренное смолой. Бумажка оказалась распиской на сдачу карабина кладовщику зверопромхоза. Сапожник иронично и понимающе глянул на пьяного гостя.

— А доху я твоей старухе отнес, — выдохнул Барыня, икая. — Пок... поклон ей от тебя передал.

В доме сапожника густо пахло кожей, кислым тестом. Мы заторопились на воздух. Над крышами домов морозно застыли дымы.

Торопились, бежали в клуб деревенские хохотушки-девчонки, скрипел снег под их сапожками. Тарахтел на электростанции дизель.

## Женьшень деда Чайковского

Сыпал-кружился снег, когда я получил грустную весть: в селе Кыэкен умер дед Чайковский. Крупные мягкие хлопья валили густо, окутывая дома, прохожих, собак. Словно чья-то без меры заботливая душа вырвалась из теснины, чтобы приласкать и согреть людей в этот осенний неустроенный день.

А душа Чайковского была такой же наивной, мягкой, как этот снег. И немного такой же сумбурной... Я сел за стол с намерением написать о Чайковском рассказ. Жизнь его была странной. Громкую фамилию деда я решил оставить без изменения, хотя сразу должен оговориться: дед Чайковский не потомок, не родственник великого композитора. Просто однофамилец. Так что любителям почитать о родственниках знаменитых людей придется отложить этот рассказ в сторону.

А познакомился я с Чайковским вот как. Некая старушка отправила в редакцию областной газеты посылочку, в которой нашли предмет, очень похожий на половинку сухой брюквы. К посылке было приложено коротенькое письмо, в котором пояснялось, что в таежном селе Кыэкен проживает хороший человек Александр Миронович Чайковский, и этот человек знает места, где произрастает целебный корень женьшень. Чайковский — глубокий старичок, ему восемьдесят шесть лет, собирается помирать, а перед смертью хотел бы указать места в тайге. Пусть, мол, люди роют себе на здоровье и пользу те самые корешки. Александр Миронович рассказывает, что корешки непростые: возвращают они людям силу, разумение, миролюбие. Стойким и работающим становится от них человек.

Казалось, что старушка — отправительница посылки — сама чего-то не понимает или просто разыгрывает

редакцию. Не помнится такого случая, чтобы женьшень вырастал толщиной в брюкву. Да и не водится он в Забайкалье. Уссурийская тайга, Дальний Восток — вот родина этого корня. И все же я с большим вниманием разглядывал корнеплод. Он был удивительным и странным на вид. В его клетчатке угадывались следы млечного сока. На вкус корень немного сластил и отдавал жгучим перцем. Нет, это не брюква! Но что же тогда? Наверняка мужик-корень! После знакомства с ламой-лекарем появилась у меня страсть к изучению целебных корней. Я даже собрал коллекцию того, что растет у нас, в тайге Восточной Сибири. Не было в этой коллекции только мужик-корня. За этим корнем я долго охотился. Сейчас мне очень хотелось думать, что я держу в руках мужик-корень. В тот день я справил себе авиационный билет, вылетел на трескучем самолетике в поселок Вершино-Дарасунский, а оттуда на попутной машине — в село Нижний Стан, где располагался центр совхоза «Воскресеновский». До деда Чайковского было далеко — прятался Кыэкен в таежном углу, в стороне от больших дорог. Но и туда нашлась попутная машина — крепко сколоченный грузовик с уютной кабиной, окрашенной голубой эмалью. Вел машину шофер Иван — односельчанин деда Чайковского.

На закрайках леса, на лугах и полянах цвели яркие предосенние травы. Календула, чертополох, мытник, брань-трава, ледвянец сбивались в радужные пятна и полосы. Я отметил, что почва здесь особенно жирная, растения идут в богатырский рост. Очень много среди них целебных корней и трав. Чернокорень, например, растение редкое, а я видел из окна машины его пурпуровые цветы и листья, похожие на собачий язык. Мелькали золотые заклепки пижмы, сиреневый дымок руты, мечевидные листья айра, лиловым огнем взблескивали цветы ятрышника. «Чернокорень хорош против укуса змей, настойка айра веселит понурых и квелых, лечит печень и почки, а рута изгоняет лихорадку, возбуждает аппетит»... Нет ничего удивительного, что дед Чайковский нашел среди этого буйства трав особенной силы корень. Есть в тайге еще не известные науке растения. Привез же я из Якутии, с берегов Олекмы, пахучий целебный корень, который не назван ни в одном определителе!

Недалеко от Кыёкена мы увидели на таборе косарей. Совхозный бригадир Миша Карпов руководил сенокосом. Встретил он нас озабоченно. Бригадир попросил, чтобы я не задерживал грузовик. Деда Чайковского можно свозить на место произрастания травы-муравы, но по-быстрому, потому что вечером надо вывозить с покоса людей. Косари иронично хмыкали: сколько еще лет вздорный кыёкенский старик будет людей баламутить? Машина, видишь ли, нужна ему в такую страдную пору! Толстый мужчина с лицом буро-сизого, свекольного цвета сказал голосом мученика:

— Он ково лечит-то? Калечит! Я вот чуть было не сдох от его снадобья. А все возится со своим корнем. Вот уже лет двадцать пять — тридцать возится. Во все двери стучит. Начал с нашего фельдшера, а закончил Косыгиным. Теперь вот, видать, на второй круг пошел.

— Правда, правда,— заулыбалась розовощекая баба,— в Совет Министров направил жалобу и ящик корней. Самому Косыгину жаловался.

Мало того. Чайковский обнищал с этим корнем. Избу запустил, огород. Бабка Наташа вся измучилась с ним. Нынче весной картошку ей запретил сажать: всю землю, говорит, корнем женьшенем засею в своем огороде! Ладно, бригадир Миша Карпов вмешался: разобрал для трактора прясло, вспахал огород да помог раскидать картошку бабке. А без картошки как жить?

Сизолицый толстяк добавил, что за таких стариков взяться некому. И даже передразнил деда Чайковского:

— Заладил: «Корешок добра, корешок добра!» Если, мол, этим корешком людей поить, все добряками станут да умниками. Умник тоже нашелся!

Сизолицый даже зубами скрипнул от злости. Я подумал, что будь в действительности «корешок добра», толстяку не мешало бы попользоваться такой настойкой. Но все-таки образ деда, нарисованного моим воображением в приятных красках, сильно поблек. Да и разговор, состоявшийся в конторе совхоза, хорошо помнился. Директор совхоза с лицом боксера советовал написать сердитый фельетон про Чайковского. Всех, дескать, вздорный старик замучил своими письмами, начиная от простых врачей райбольницы и кончая академией.

Вдоль дороги снова запестрело богатое разнотравье.

Песенный грузовик взбрыкивал на ухабах. Я спросил шофера Ивана, носит ли Чайковский бороду. Нет, совсем наоборот: бреется так чисто и гладко, что щеки у него всегда розовые, как у младенца. А в праздник еще и одеколон на лицо и рубаху брызгает. На последние копейки купит пузырек, но чтобы в праздник плыть в цветочном духу. Вот и сегодня старик наверняка побрызгался «Золотой осенью» или «Шипром». Постукивает возле калитки тросточкой в ожидании корреспондента — уже сообщили ему, что едет гость. Брюки старик погладил, чистую рубаху надел с опояской.

Мы перевалили хребтик и сразу вниз увидели Кызкен. Среди бревенчатых черных домов контрастно белела избушка Чайковского, обмазанная известью.

Иван угадал: с тросточкой в руках, наряженный и гладко причесанный, дед топтался возле калитки. Ему, наверное, думалось, что гость прибудет в роскошной «Волге» при галстукe, в нарядном костюме, а в нагрудном кармане гостя будет лежать документ, подтверждающий его высокую ученую степень. Но степени у меня не было, а одет я был в пыльную красную рубаху — в сумке среди фотокамер у меня лежала еще одна красная рубаха для смены.

— Ну что ж, пойдем чайпить-беседовать! — чистым и почти девическим голосом сказал Чайковский, потрогав концом тросточки узорчатую шину грузовика. — О мно-о-огом переговорить надо! До полуночи будем беседовать... Да!

Надушенные и гладко обритые щеки деда отливали молодым румянцем. Забылось, что ему без малого девяносто лет. Весь он был нарядный и чистенький, сиял, как весенний ручей. Я бы тоже был не прочь вести дело не торопясь, с чувством, но пришлось выложить деду, что бригадир Миша Карпов машину дал ненадолго, а завтра мы ее вообще можем не получить. Лучше прямо сейчас поехать на место произрастания корня. А для беседы у нас еще будет время.

— Тогда хоть чайку на дорогу выпьем! — подтолкнул меня к раскрытой калитке дед.

Двор Чайковских вид имел странный. Весь он зарос цветами, дикой травой, огородной всячиной, а посреди двора стояло сооружение из соломы, похожее на копну, что ставят косари на лугах. Отхожее место в углу

двора тоже имело вид копны. Солому оплетали стебли повилики с цветами в форме правильных шестигранников.

— Иди-ка, иди-ка! — поманил меня пальцем Чайковский. — Вот он, родимый, сидит.

В углу морковной грядки, куда указывал розовым пальцем дед, торчал хилый стебель с кожистыми, как у фикуса, листьями, только значительно мельче. Растение ничем не напоминало женшень. Даже отдаленного сходства не было. На грядке диковина чувствовала себя неважно: листья пожелтели и даже начали гнить. Огородная почва, подумалось, всему виной. Но позже бабушка Наташа честно призналась, что она со зла «тыкала в самое нутро, под землю, вилами», чтобы повредить корень: весной чуть в гроб дед ее не вогнал с теми кореньями! Не давал сажать картошку на приусадебном участке, грозился всю землю занять под женшень.

Изнутри беленая халупа Чайковских тоже имела вид чудной. Висели по стенам пучки трав, средину избы занимало странное сооружение из тракторных шестерен, болтов и труб. Издавая музыкальный гул и треща дровами (это была печь), сооружение излучало тепло. Бабушка Наташа, подвижная, смуглолицая и тоже очень крепкая с виду старушка, разлила по стаканам чай.

— Это мой сын, — указал дед на стену, где висела под стеклом фотография в крашеной деревянной рамке. — Петро Чайковский, артиллерист. Замучен во время немецкой оккупации в болотах под Ленинградом. Домой Петро мой вернулся весь больной да израненный. С год всего прожил-то. Лежит в земле возле устья речки Княжны, а напротив, на сопочке, — корни, корни! Знай тогда эти корни, я бы его крепко поставил на ноги, Петруху-то. А в тот год я и себе уже доски на гроб приглядывал...

Многое передюжил. Тягот и зла, выпавших ему от судьбы, на троих хватит, если разложить. Это еще смолodu его ошарашило, хотя поначалу такая радость ему привалила: женился он на Марусеньке, самой бравенькой, самой милой в деревне молодушке, а вот люди ее убили. Выстрелом из-за угла, в спину! Он тогда на мельнице работал, хлеб молот. Ночами пропадал около жерновов. А к Марусеньке все подлаживался один, а она его прогоняла, пряталась от незваного. Тот и скараулил

ее за углом с обрезом в руках, детишек осиротил. Его, Александра Мироновича, больным сделал.

Болеет он долго и шибко. А после войны совсем никудышным был. Сторожем на местном курорте устроился, целебной водичкой себя поддерживал. А старушка-знахарка возьми да покажи ему этот корешок.

Баба Яга с одним зубом, совсем почти уж слепая! А у него сорок болезней к тому времени сказывалось. «Я тебя счастливым, Миرونч, сделаю,— обещала знахарка,— только ты мне выкопай то, что я тебе покажу. Это корешок добра, человека он делает веселым да гладким». И правда: стал он пить тот корень — молодеть начал. На женитьбу позвало: в жены взял на двадцать лет моложе себя, вот эту самую Наталью.

Дед Чайковский исчез за ситцевой занавеской и вышел с мешочком в руках. В нем оказались обрезки сухих корней — по цвету такие же, какой был послан в редакцию, но продолговатые, не очень толстые и совсем не похожие формой на брякву.

— Этим женьшенем я и прогнал свои болезни,— похвастал дед,— у-у, какой это корень! Посылал докторам, но врачи разве понимают в травах? Я вот письма сейчас покажу. Пишут, мол, палас это, отрава...

— Женьшень был бы,— хмыкнул шофер Иван,— давно бы сюда понаехали. Целой ватагой небось колею пробили. Доктора тоже ведь кое-что кумекают.

— Ну, а вдруг это совсем неизвестное науке растение? — сказал я.— Скажем, разновидность женьшеня? Так и запишут в книгах: «Женьшень Чайковского».

— Во-во! — обрадовался дед.— Разве я вовсе неграмотный? О том ведь и речь. Они там как? Какой-нибудь дедко Онуфрий чего найдет, они опосля дихсертацию сбандют. А я сам хочу быть в ученую книгу записанный. Ради добра людям.

Дед Чайковский зашебуршал в сундуке в поисках докторских писем. Но шофер Иван вдруг поторопил ехать. Мы забросили в кузов лопаты, и я посадил деда в кабину. Тут было не хуже, чем в легковой. Поблескивали стекла и никель приборов, скрипело поролоновое сиденье, а высокое ветровое стекло давало глазу хороший обзор.

Выехали мы в устье речки Княжны. На Княжне, рассказывал дед, когда-то стоял поселок, а теперь от

домов остались только бугры в зарослях лебеды да кресты на кладбище.

Наполовину заросшая, а местами промытая ливнями в сплошной овраг дорога от Кызкена шла туда прямо через хребет, но шофер Иван поехал в объезд, по зимнику. Ехали мы вдоль речки, название которой я позабыл. Помню только, что в нее впадает Княжна.

Дед все допытывался: не профессор ли я, не доктор ли? Я отвечал, что беды в том нет, что я не доктор: после публикации редакция газеты отошлет материал в Академию наук, а от себя я еще добавлю цветное фото и образец растения. Но какое все-таки название имеет корень? Вот мы едем его копать, а я до сих пор не знаю названия...

— Кукла! — непонятно сказал шофер Иван.

— Женьшень это, женьшень,— начал твердить свое дед Чайковский.— Или ты тоже скажешь: палас, кукла, яд-трава?

Нет, я не хотел сказать этого. Надеешься всегда на самое лучшее. А у меня вообще такая жизненная привычка — ожидать чуда.

Дед с восторгом хохотнул сквозь шум мотора:

— Был Чайковский ноль без палочки, а помрет с именем. Генерал, академик!

Ветки берез шаркали по дверцам кабины. Старость, очевидно, всегда нуждается в почестях. Оттого-то почти всякий старик слегка хвастун. Вспомнилось мне из рассказов жителей Кызкена, что дед Чайковский ни одно кино не пропустит. Пурга, дождь ли с градом — все равно в клуб притопают. Иногда со значением ухмыльнется:

— Время придет, меня в кино смотреть будете. Профессора будут пожимать руку деду Чайковскому!

Сильно накренившись, грузовик наш остановился на склоне сопки. Колеса машины нудно и долго проминали путь сквозь кочки, откосы, заросли ивняка. Теперь ездку нашу оборвал старый овраг, наполовину замаскированный высокими жирными травами. Шофер сказал, что овраг, который тянулся до самой реки, он объедет по сопкам. Мы с дедом спустились вниз и пошли пешком. И правильно сделали: машина надрывно зундела мотором, карабкаясь на опасные кручи. Только благодаря водительскому искусству Ивана грузовик не задрал к небу свои колеса.

Внизу, в занавеси ивняка, шумела вода. У горизонта синели сырые пади. Травы доходили до пояса. Гушина их и мощь будили наивные детские страхи. Казалось: ядовитыми гадами кишит земля под корневищами, в невидимой затени. Ноги, обутые в открытые городские туфли, я ставил вперед с опаской. Опять удивила меня тучность здешних трав. Знакомый тысячелистник, например, узнавался с трудом: тело его налилось едкой зеленью, а тугие капли цветов вместо привычного белого цвета имели синевато-красный оттенок. Желто-оранжевые цветы жабрея тоже были не в меру крупные, глянцеватые, жирные. Стебли купены, казалось, потрескивают от избытка сил: в земле угадывались ее мощные, богатырские корневища. «Корни купены продляют жизнь»,— вспомнились мне почему-то слова ламы-лекаря. Легкий ветерок пробежал по верхушкам вейника, стебли которого лоснились в солнечном блеске. Качались красные головки саранок, золотистые колокольчики собачьего мака клонились к теплой земле. Долгозубой темной пилой на той стороне реки маячила стена ельника, столь редкого для Забайкалья.

— Княжна течет за тем ельником,— махнул рукой дед.— Там Петруха-то мой. Марусенька тоже там...

Ноздри и рот забивало запахом меда, полынной горечи, земли, согретой солнцем. И вдруг слегка сжало сердце: пробегали здесь ноги бравенькой молодки Марусеньки, ластились к ней кудрявые саранки, вейник. Аромат горячих женских волос почудился сквозь запах чебреца и полыни, сквозь шелест травы.

Деда Чайковского, очевидно, тронули те же чувства, потому что он сказал негромко, почти шепотом:

— От чего люди бывают злы, жадны да завистливы? От особой болезни! С виду человек как человек, а внутри червь зла-жадобы его зудит, зудит. Полно злых да жадных. Там, там и там...

Дед показал рукой на все четыре стороны и еще тише сказал:

— Вот и я говорю: корешок добра людям нужен.

Грузовик догнал нас, когда мы были уже почти у цели. Лес обрывался, открывалась пестрая от разноцветья поляна, над ней горбился скат увала.

— Вон они, краснеют дедовы лопухи,— кивнул сквозь стекло кабины с добродушной иронией Иван.

На склоне увала сквозь травы действительно проглядывали красные розетки листьев.

— Во-во, это они! — волнуясь, показал пальцем дед.

А Иван уже гремел в кузове, выбрасывая на землю лопаты и лом, длинный, как пика.

«У мужик-корня,— вспомнил я слова знахаря,— листья к концу лета становятся красными. Он первым ворожит осень». Я нагнулся к земле. У растения не было единого стебля — торчала из почвы горсть веток. Будто ветки нарочно натыкала в землю наивная рука. Мы с Иваном вооружились лопатами, и принялись рыть.

— А еще они растут в пади Шершаниха и по самой Шилке возле Казаново,— взбудораженно шептал дед.

Обнажился массивный плод в бурой картофельной коже. Мелкие стебли нелепо и странно торчали из его мощного тела.

— У, какой здоровый! — покачал дед на ладони вырытый нами корень. — Ройте, ройте еще!

— Кукла! — сказал шофер Иван. — Раньше давали их девочкам играть вместо кукол, вот и называется растение кукла. А еще мужик-корень...

— Точно! — подхватил я слова Ивана. — Целебное растение мужик-корень.

Корень и в самом деле был похож на мужика, на человечка, который расшарашил ноги. Глаза деда Чайковского блестели от волнения, пятнистый румянец покрыл его щеки. Оттого, что мы торопились — бригадир Миша Карпов ждал на покосе машину! — возбуждение деда передалось и нам с Иваном. Мы уже рыли каждый отдельно, жадно втыкая в землю лопаты. Волшебный корень рос тут в изобилии — прямо глаза разбегаются! Вот и корешок, за которым я так долго охотился и который растет только в Забайкалье, вблизи рек Шилки и Онона, и нигде больше! Я быстро сориентировался: у молодых растений листья еще зеленые, а у старых они сделались цвета пурпура, подготовились к осени. Я ударил лопатой — под самый пурпуровый, с множеством стеблей! — и сразу обнаружилось могучее тело корня. У меня даже лоб вспотел от радости и восторга: корень был толщиной с голенище дедова сапога, целая чурка! Пришлось выкопать огромную яму, прежде чем мы вытянули из земли эту корягу. Из поврежденных отростков сочился молочный сок. Дед только хлопал

глазами и молча пыхтел, ползая по земле вокруг корня.

— Ух ты, зараза! — выдохнул он наконец. — Я тут давно не был, года два-три, выросли-то, расперло их как! Мне сроду такого корня не доводилось выкапывать. Граммов семьсот самое большое. А этот!..

— Килограмма на три вытянет, — прикинул я.

— Да ты бы сразу миллионером стал, Мироныч, будь это настоящий женьшень! — сказал шофер Иван.

По расценкам «медэксперта» только одна моя коряжина оттянула бы на десять — двенадцать тысяч.

— Но что деньги, что деньги! — бормотал старик, прижимая корень к груди, как ребенка, и глядя его ладонью. — Ему цены нет! Корешок добра это, говорю вам, корень радости, а не какой не «палас». Вот, вот и вот...

Дед Чайковский хлопнул себя ладонью по груди, животу, коленям. И в который раз рассказал, как он вылечился от целой уймы болезней. А то все в тоске жил, горестях и тревоге. Не только телесные болезни, утверждал дед, но и пороки души пропадают: зло, зависть, алчность, равнодушие, лень. Человек как бы родится заново. Доктора об этом корне ничего не знают, утверждал дед Чайковский, а то они за него уцепились бы! Возможно, это грозит переворотом в мировой медицине, поскольку даже самые зловередные мировые войны можно предупреждать с помощью этого корня. Ведь всякая война начинается с разных тревог, психопатии, а корешок этот ласкает сердце и освежает разум.

— Так и напишут в книгах: «Женьшень Чайковского!» — прибавил дед с ухмылкой. — А ты говоришь «миллионы»! Когда человеку худо, то и все миллионы твои — куча мусора...

В синеньких глазах деда вспыхивали то искорки торжества, то хитринка. Нельзя было понять: шутит он или говорит серьезно? Моя потная красная рубаха просохла на солнце, а на ней выступили разводы соли. Кое-что я мог бы рассказать в ответ деду. Но я еще не знал: точно ли это мужик-корень? А что касается слова «палас», которое уже раз десять произнес дед, это, скорее всего, имя немца Палласа, который лет двести назад путешествовал по Восточной Сибири.

Возможно, еще тогда шилкинцы подарили Палласу мужик-корень, который котировался в старину наравне с дальневосточным женьшенем.

Пока мы таскали из рук в руки «рекордный» корень, ветки с него обвалились, торчало на макушке два стебелька, как жалкие волосинки на голове лысого. Держаться было на этой коряжине целой сосне, а она питала лишь пять-шесть хлипких веточек! Не за счет ли экономии соков концентрируются в мужик-корне целебные силы? Из ран земляного чудища сочилась белая, молочная кровь, на вкус она была сладковатой и жгучей, как перец.

Пережив первый прилив восторга, мы спокойно выкопали еще два-три корня. За рекой темнел синий распадок, и там в замшелых камнях и ослизлых колодах набирала силу речка Княжна. Надгробными стягами топорщились в устье Княжны островерхие ели и пихты, охраняя покой Марусеньки и ее сына Петра Чайковского.

Я расстелил на земле плащ, и мы завернули в него коренья. Сверток получился тяжелый, как вязанка дров. Шофер хотел забросить коренья в кузов, но Чайковский запротестовал — взял их себе на колени. От мотора машины пахло жаром. Дед покряхтывал от усталости, но сидел прямой и важный, как некая знаменитость. Похоже, Чайковский торжествовал победу. Раз человек приехал, место показано и корни вырыты, то — все, дело сделано! Но я-то примерно знал, чем все кончится. Не давал мне покоя этот немец Паллас.

Солнце тянулось к закату. Красная пыль, поднятая стадом коров, висела над Кызкеном. Дед едва удержался на одеревенелых ногах, ступив из машины на землю. Шофер Иван, поддерживая Чайковского под руку, довел его до калитки. Мы дали Ивану пару корней, но он с пренебрежением кинул их на завалинку.

Дома дед пропустил стакан горячего чая и снова порозовел. Бабка Наташа извинялась за небогатый стол: ржавый морской частик в жестянке, ягоды голубики, крынка молока, взятая у соседей. В последние годы дед порешил всю живность: гусей, кур. О корове даже и заикаться не велит. Кричит: «Разве мы заскорузлые частники — корову держать?» В пику деду бабка Наташа берет на лето поросенка, но ухаживает за ним одна: дед и поросенка грозит выбросить со двора. Домишко запустил. Бабка даже заплакала, глянув на потолок, где по известке кривилась желтизна дождевых промоchin. Балки под полом сгнили, половицы упали на землю, и

зимой хоть волков в избе морозь. В добавление в русской печи, занявшей и без того почти всю избу, дед приладил плиту — то самое сооружение, которое больше похоже на трактор, чем на печь. В дело пошли старые ведра, части от комбайна и трактора, булыжники.

— Э-э,—сказал дед,—запела мне тут. Теперь все по-другому пойдет. Я тебе цигейковую шубу подарю и новый домик в придачу.

Дед, ючевидно, имел некоторые виды на премию за открытие корня. Было бы справедливо, считал он, вознаграждать бабу Наташу за долготерпение: ведь далеко не всякая может ужиться в доме бессребреника!

Мы взялись чистить корни. Дед сказал, что они преют, если не снять с них верхний слой кожицы. Нескольких корней дед разрезал ножом на части. На стол стекал сок — густой и белый, как сливки. На лице, особенно в глазах, я вдруг ощутил неловкость. Я не мог двигать веками — они распухли. Набрякли и покраснели щеки, нос, губы. Глаза щипало, как от лука.

— Во-во! — обрадовался доказательству дед. — Это летучие целебные вещества. Корень их выделяет.

Он смазал мне лицо какой-то пахучей мазью, и опухоль скоро прошла. Я спросил Чайковского, кого он еще пользовал этим корнем, кроме себя. Дед показал мне пачку писем какой-то женщины. Дед лечил ее заочно, по почте, и она сильно его благодарила в письмах. Но закончился опыт трагично: муж ее был пьющий, налил себе однажды стакан настойки корня для опохмелки. Умер «от разрыва сердца».

Вспомнив это, дед Чайковский скривился лицом и, как мне показалось, заплакал. После этой истории с женщиной и ее мужем над ним еще больше стали смеяться, а особо недобрые пугали судом. А разве он для себя старается? Лет тридцать он колотился в двери разных врачей и профессоров с просьбой исследовать корень, но получал отказ или насмешку.

— Эх! — обвел дед глазами низкие корявые стены. — Будь грамота, разве бы я здесь был сейчас?

Ведь он ни одного класса в школе не кончил. Научился азбуке у царских каторжан, ссыльных. До остального дошел своим умом — ни одной книжки не пропустил, какие приходилось видеть.

По радио пиликала скрипка, но вдруг диктор стал

читать международный обзор — сказал, что американцы освоили выпуск новых ракет с ядерной боеголовкой, а в Китае на испытательном полигоне взорвана водородная бомба.

— Бомба — что такое? — сощурился вдруг дед Чайковский. — Сгусток злобы это! Сплав человеческой злобы, глупости, страха, жадности. Сгусток болезней. Давно люди ищут корешок добра, ищут, а он вот...

Дед покачал на ладони один из корней. Бабка Наташа шикнула на старика:

— Перестань, супостат, чего мелешь? Вот человек! Да не слушайте вы его...

На дворе была уже ночь. Лаяли на закрайках села собаки. Далекие миры — звезды прокалывали черноту ночи. Лай собак странным образом перекликался с миганием звезд. Черное небо прорезала туманная дорога галактик. Там, среди галактик, тысячи таких же планет. Вихрятся среди их обитателей такие же заботы и страсти. Где-то гремят атомные войны, а где-то царит благоденствие — там уже нашли свой «корешок добра».

Не хотелось мне заставлять бабушку Наташу стыдливо перебирать тряпье в поисках лишней простыни. Ночевать я пошел в дом бригадира Миши Карпова. Миша незлобиво иронизировал над дедом Чайковским. Вспомнил, как он самочинно вспахал огород Чайковских и посадил картофель. Дед долго дулся на Мишу за «сорванный опыт». Но корней в лесу нароешь, а картофель где взять, если не посадить в огороде? Вообще ум деда странный, говорил бригадир Миша, непрактичный. Выйдя в науку, он, может, большим академиком стал бы, а так только воду мутит. Директора совхоза злит критикой: это не так, то не так... С этим вот корнем возится. Прямо помешался на нем!

Утром я уезжал. На прощанье дед Чайковский сказал, что ящик с корнем он отослал когда-то в Москву, в Совет Министров, самому Председателю Совета Министров, и вот теперь ждет ответа. Возле грузовика, на котором я собрался ехать, толкался народ, и дед отвел меня в сторону.

— А ты там тоже где надо словечко замолви! — сказал дед, сильно стесняясь своих слов. — Насчет премии разужнай. За открытие. Я-то помру скоро, Наталья моя пусть поживет хоть. Намыкалась она тут со мной...

Стоял он виноватясь, горбясь. Я расстегнул сумку, вынул оттуда свою чистую красную рубаху, которую так и не надел в Кызкене. Протянул ее деду — в подарок. Он отказывался, но я просто сунул ему.

Пассажиров набралось много — женщины, старики, дети. Шофер Иван приглашал к себе в кабину, но я вскарабкался наверх, в кузов. Машина затарахтела и покати́лась. Быстро отдалялись бревенчатые домики Кызкена. Дед Чайковский стоял и махал мне красной рубахой, как флагом. Ветер трепал его редкие желтые волосы.

...Дома, в Чите, я сверил дедову находку по книгам. Точно — растение это называется мужик-корень. А еще — молочай Палласа. Ученый немец Петер Симон Паллас, придворный доктор царицы Екатерины, проезжал по Забайкалью в 1773 году и открыл это растение. Вот уже два века значится молочай Палласа в пудовых томах «Флоры мира». Из книг я вычитал, что мужик-корень водится только в Забайкалье, по рекам Онону и Шилке, и что в старину он ходил наравне с женьшенем. В малых дозах корень целебен, но в больших опасен, ядовит. В простонародье наблюдались даже случаи смертельного отравления. Секрет лечения мужик-корнем был с годами забыт, и забайкальцы давали коренья играть детям вместо кукол.

Вот и все о мужик-корне. Я не знал, как мне сообщить в Кызкен деду, что «женьшень Чайковского» не состоится. Неровными, корявыми строчками он сообщил, что из Москвы он наконец-то получил хорошее письмо: из Совета Министров корни попали в научно-исследовательский институт, и там их будут исследовать, «выявлять целебную силу». Результат исследований обещали сообщить в конце года.

Но дед Чайковский этого не дождался...

Сыпал-кружился снег, когда я получил эту весть из Кызкена: умер дед Чайковский. Смерть его была такой же странной, как и жизнь. В дальние сопки ушла по ягоду бабка Наташа и там заблудилась. Искали ее две недели и не нашли. Ходил в тайгу и сам дед искать.

Вернулся один. Есть и разговаривать с людьми отказался, сидел до последнего вздоха возле окна — глядел и глядел, как ветер рвет с деревьев осенние листья и кидает солому. Тут и умер, возле окна.

В Шыныгыристый ключ Платон приехал нарвать черемши. Мотоцикл он бросил в соседнем распадке, долго продирался сквозь заросли ерника. Сопки были охвачены фиолетовым пламенем — на полянах под соснами цвел багульник. В березняке среди молодой робкой травы Платон увидел широкие листья черемши. Платон набирал в руку тугие пучки стеблей и опускал их в мешок. Вверху ключа в старом замшелом кочкарнике черемша росла особенно густо. В камнях басовито гудела вода, сладковато пахло хвоей арсы.

Поднявшись еще вверх по ключу, Платон увидел тропу. Она сбегала с крутой сопки, пересекала ключ и снова убегала на сопку, прячась в зарослях ольхи и багульника. Тропу эту выбили звери. Платон опустил на корточки и увидел свежие отпечатки изюбриных копыт. Кисловато и приторно пахло орешками — они лежали на тропе еще теплые и глянцевитые от кишечной влаги. Звери прошли здесь часа два назад, но Платону показалось, что ветки берез еще качаются над тропой, как живые. Мутно и вкрадчиво ворохнулся зов древней страсти: догнать и убить! На сопке тревожно и длинно закричала желна.

Тонкостям изюбриной охоты Платона обучал дед. Но наука эта дальше теоретической части не двинулась — Платон никогда не видел живого изюбра и никогда в него не стрелял, хотя был известен в районе как заядлый охотник. Егерь Раскладушка разносил по селу слухи о том, что механик «Сельхозтехники» Платон Капустин занимается не только законной охотой, но и браконьерством. Тайно приносит из тайги мясо косуль и изюбров,

дает в виде взятки начальнику, а тот каждую осень освобождает Капустина от работы и на полтора месяца отпускает в тайгу.

Не только Раскладушке с его глупым парным лицом, но даже лучшему другу стыдно сказать, что случается с Платоном осенью. Своему брату, научному сотруднику крупного института, Платон открылся в письме, но тот ответил на это коротко: «Питекантроп!» Платон на брата сильно тогда обиделся.

Осенью что-то нелепое, мучительно странное происходит с Платоном: его неудержимо тянет на Север. Кедровник и сосны в хребте стоят в эти дни сырые и темные, контрастно звенят желтые острова берез, ветер кружит листья осин, сгорающих в тревожном огне. С гольцов, блестящих от раннего снега, стекает в долину стын. Запах снежной стыни — острый, как спирт, — сводит Платона с ума. Дома он тычется из угла в угол, водит пальцем по карте. Невнятно бормочет жене, что они поедут жить в Чару, а то и того дальше — на реку Адыча. Дикие глаза Платона пугают жену, она плачет. Иногда бежит за подмогой к матери. Щекастая, басовитая теща, подоткнув за пояс подол широченного цветастого сарафана, машет руками, кричит, что Платон бездельник, мытарь и пьяница.

Водку Платон почти не пьет, но утром поднимается тяжело, как с похмелья. В контору уходит больной, ничего там не делает. Худой и обугленный стоит у окна своего кабинета и тихонько, чтобы не услышали сотрудники, воет:

В грудь молодец ранен,  
В грудь мо-о-о-лодец ранен  
Каленой стре-ло-о-о-й...

Тоска по Северу тем более жутковата и странна, что Платон никогда не бывал на Севере. Судьба далеких предков малоизвестна, но Платон точно знает, что отец и дед тоже никогда не жили на Севере. Из родного села, расположенного на юге Забайкалья, они выезжали не дальше Читы. И тем не менее осенью Платону до слуховых и зрительных галлюцинаций чудятся рога оленей, яранги, крики и хохот тунгусов, свист зернистого снега под полозьями нарт. Слово «олень» падает в глубь сознания и долго качается там истошно-восторженной песней.

Платону иногда кажется, что живи на Севере, он был бы самым счастливым человеком на свете.

История эта каждую осень кончается тем, что Платона посылают в тайгу «лечиться». Жена сушит в большой русской печи сухари, начальник выписывает очередной отпуск плюс две недели без содержания. В зверопромхозе Платон заключает любительский договор на добычу пушнины. Ослабший, сутулый и сморщенный, с понягой и ружьем за плечами он уходит в хребты, где чернеют кедровники.

Но и в тайге Платона долго не покидает загадочная тоска по Северу. Облегчение приходит вместе со снегопадом. От сугробов кедровники засыпают, гложут. Пропадают краски и винные запахи осени, а воздух становится мутным от морозного хюса. На щеки Платона садится плотный румянец, а походка и взгляд приобретают мужскую твердость. Домой он приносит полную котомку беличьих шкурок и штук пять или шесть соболей. Теще, которая жалуется на болезнь печени и не ест свиного мяса, Платон дарит пару зайцев или кабаргу.

Сейчас, стоя возле звериной тропы со свежими следами копыт, он подумал, что обязательно поохотится на изюбрей. Сделает солонец, в густом осиннике срубит из колодника сидьбу, а в конце лета скараулит на солонце рога.

Через неделю Платон опять приехал в Шыныгыристый. Привез на мотоцикле два пуда соли, топор и лом, которым в старину орудовали старатели. Тяжелый и скользкий лом Платон никак не мог закрепить на мотоцикле, и в пути раза четыре лом выскальзывал из веревочных пут, с визгливым звоном падал на щебень дороги. Первый раз лом выпал почти у самого дома егеря Раскладушки. Деревня досматривала предрассветные сны, но кто-то из семьи Раскладушки отодвинул на окне занавеску, когда Платон поднимал на дороге лом.

Черемша в Шыныгыристом за семь дней сильно подалась в рост. Листья шириной с половину ладони стояли на высоких жирных стеблях, понизу как бы облитых брусничным соком. Платон сорвал один из стеблей и стал жевать — во рту отдало запахом лука и чеснока одновременно. Место для солонца Платон облюбовал на бугорке под лиственницей, одиноко черневшей в редком березняке. Срубил топором дерн, потом взял в руки тяжелый

лом, чтобы пробить шпury. Лом, натываясь на камни, издавал глухой скрежет, Пахло парной землей и оголенными корнями деревьев. Соль Платон сыпал в шпury осторожно, будто это был динамит. Раскатисто и длинно прокричала в деревянный рожок желна.

Платон швырнул в кусты лом и помыл в ключе руки. Нагнулся пить и увидел в воде отражение своего лица. Черный, стянутый морщинами и обшарпанный осенними ветрами, Платон никогда не был красавцем, А сейчас отражение лица еще искажало течение.

Платону стало тоскливо. К солонцу, который он соорудил с таким азартом, пропал весь интерес. Солидный человек тридцати лет, семейный, и вдруг такая чепуха — солонец. Вот уже нелепость!

На другой день вечером Платон сидел в тесном закутке возле районной столовой и пил пиво. В окна упруго хлестали плети дождя. Желаящие выпить пиво протискивались к прилавку по узкому коридору между столиками и грязными дубовыми бочками. Платон заметил, что к одной из бочек прилип березовый лист. За столик Платона сел егерь Раскладушка. Отхлебнув пива из своей кружки, егерь сказал с ехидно-вежливой ухмылкой:

— Черемши с пивцом бы. Хороша нынче черемша в Шыныгыристом? Вы вчера, кажется, там были. Лом в кустах потеряли. Я привез лом-то. Приди возьми...

Раскладушка уткнулся в кружку. Платон заметил, что березовый лист, прилипший к бочке, совершенно желтый. Лист пронзительно напомнил об осени: о блеске раннего снега на спинах гольцов, о Севере.

Север, Север! Стыдно сказать кому-либо...

Платон молчал, и Раскладушка, заискивая, усмехнулся:

— Хе-хе! Ломом-то яму в Шыныгыристом под себя рыли?

Лицо у егеря маленькое, парное и красное, как у новорожденного младенца. Синенькие глазки как бы плавают в недомыслии. Дурак-дурак, а все-таки выследил, как Платон копал в Шыныгыристом солонец! Честь бы ему за это, да ведь с пакостной целью старался; очень хочется Раскладушке, чтобы Платон «замарал голяшки» и был от него зависим. Однажды на районном слете охотников Платон в своем выступлении обрисовал еге-

ря как бездельника: для виду раз в год оштрафует безобидного деревенского старика, в поисках «хлеба насущного» убившего косулю, а настоящих матерых браконьеров боится, не трогает. Оттого охотники и прозвище егерю дали «Раскладушка» — никто не зовет его по фамилии-имени.

В подготовке к уборочной страде (ремонт, ремонт и ремонт!) прошло лето. Платона воротило от стука ключей, запаха машинного масла и блеска тракторных гусениц. Привязалась бессонница. В одну из ночей под утро Платон выглянул в синее окно, пораженный: трава, земля, крыши домов — все побелело. Упал иней. Платон вышел на крыльцо и, как запаленный конь, шумно втягивал носом свежую острую стынь. Невидимый палец надавил на клавишу с надписью «Север». Привиделся бегущий олень, яранги, нарты, хохочущие тунгусы держат в руках куски дымящейся красной печени... Платон зашел в дом, включил свет и стал водить пальцем по карте, с восторгом читая названия северных деревень и рек:

— Амга, Адыча, Улу, Нюрба, Чара, Нимныр...

В субботу Платон сказал жене:

— В ключ Вороний поеду. Проветрюсь, смородины наберу.

В ином мозгу дремлет чертик, который учит ходить по кривой. Вороний по ту сторону хребта от села. Спустишься автомобильной трассой и сразу увидишь кедровую падь, в которой бежит Вороний ключ. Поднимешься этой падью, пройдешь кедровником и по ту сторону загнутого дугой хребта снова увидишь падь, в которой бежит ключ Шыныгыристый. Идти и ехать в два раза дальше, зато никакой районный мудрец вроде Раскладушки не догадается, что ты поехал смотреть солонец. С треском коротких крыльев вспархивали рябчики, клевавшие бруснику, которая местами уже совсем поспела. На кедрах цвиркали молодые белки, нисколько не боясь человека. Листья черемши стали пресными и жесткими, как бумага. На длинных стрелах ее вызрели семена, похожие на зерна черного пороха. Сквозь замшелые кедровники Платон продирался в низину Шыныгыристого почти полдня. Гнало любопытство — ведь солонец он сделал первый раз в жизни. Ходят ли на него звери?

Новым штaketником забелел знакомый березняк. К бугру Платон приблизился вплотную, прежде чем увидел свежую черноту почвы. Восторженными глазами смотрел на следы копыт, которыми был уталован бугор. Просолевшей земли звери съели центнера три — не меньше! Корни лиственницы были оголены так, что висели в воздухе. Платон нарочно бил шпury ближе к стволу дерева, чтобы изюбры не сразу истощили солонец. Под корнями были выедены лунки и ямы, на дне которых желтела глина, глянцеvитая от свежих заливов.

— У-ю-у! — покачал головой Платон, чувствуя, как древний азарт охотника электризует сознание. Он спохватился и быстро отошел на цыпочках, чтобы не оставить на солонце запах резины и пота. Осмотрел в зарослях осинника сидьбу. В мускулах чувствовалась кошачья легкость. «Скрасть, убить», — токало в сознании. Платон нарвал травы и устлал ею дно сидьбы. Он уже точно знал, что завтра придет сюда с ружьем.

Дома набил порохом патроны, вставил свинцовые пули типа «гриф», чем-то похожие на турбины. Наточил нож, приготовил мешки для мяса.

В сидьбу Платон спрятался, когда солнце стояло высоко над хребтом. Лес был совсем не тот, что весной. Не полыхал фиолетовым огнем багульник на сопках, не кричала желна. Зверюшки и птахи, захваченные заботами предстоящей зимы, молча пестовали своих почти совсем взрослых детей. Сладкий сок черемши ушел под землю, в корни. Метелки вейника тронуло охрой, а в темных кронах берез кое-где желтели начавшие мертветь листья. Иногда это были целые ветки. Вот так начинается в тайге осень: ветка, другая, а потом ночной заморозок, и однажды утром березовый лес просыпается задумчивым и звонким, точно гитара.

Платон чувствовал ладонью холодок черного металла двухстволки. От неподвижности у охотника стало деревенеть тело, но шевелиться было нельзя. Старики говорят: изюбр зверь гордый. Простушка-косуля идет низом пади, берегом ключа по ернику. Изюбр — тот шагает по самой стрелке отрога, долго глядит и слушает с верхотуры, прежде чем спуститься на водопой или луга. Платон не сомневался, что звери выйдут на солонец.

Острые верхушки сосен на горбатом отроге слегка царапнули край солнечного диска, когда Платон почув-

ствовавал, что тайга обрела глаза. Незаметные, они смотрят с лесистого ската сопки. Платон верил, что зверь вот-вот выйдет на солонец.

Зверь вышел не один, а сразу три — целая семья! В ключе шумела вода, но Платон разобрал, как треснул сучок. Потом под кустами багульника мелькнули рога. Рога надолго исчезли, зато в другой стороне Платон увидел заргола — телка, переступавшего жердистыми ногами колодину. За телком вышла грациозная матка, она потянулась к траве, но вдруг застыла, вскинув уши-локаторы. Платон почувствовал, как туго натянулся нерв изюбрихи. В жилах Платона тоже гудели токи высокого напряжения. «Ах!» — крикнет на всю тайгу зверь, хватив ноздрями человеческий дух. Реактивно мелькнет в стволах деревьев, а после этого «ах» три дня и три ночи на солонцах будет пусто. Но нет: заргол и матка тихо прошли голубыми стволами берез и деловито зашебуршали травой! И тут под кустами слева опять качнулись рога. Заргол нюхал землю, а матка сразу рухнула на колени, по самые уши сунула морду между корнями лиственницы и там, смакуя соль, зачмокала губами, как поросенок.

Платон хорошо понимал, что в заргола и матку стрелять не надо. И все же медленно прилачился щекой к ружью, в стволе которого таились пули типа «гриф», похожие на турбины. «Убей, убей», — кричал древний инстинкт. Нажать на пусковой крючок он не успел. Молниеносно, как в фильме, на солонце произошла смена кадров. С испуганным тонким пиканьем метнулись в березняк заргол и матка. На солонце, воздев к небу рога, стоял бык. В проход между деревьями от закатного солнца проливалась оранжевая река света, и бык был освещен контрастно и четко. Рога, глянцевиые на концах, излучали мягкий розовый блеск. Это были тяжеленные, громадные рога-деревья. Но изюбр держал на своей длинной и тонкой шее эту тяжесть так, будто рога совсем ничего не весили. Вытянув морду, нервно подрагивая ноздрями, зверь стоял к Платону боком... «Убить», — кричал внутри Платона древний инстинкт. Но Платон, забыв про свои пули «гриф», без малейшего шороха опустил двухстволку. Показалось, что главное сейчас совсем не это: линии длинных ног, изгибы рогов и шеи зверя складывались в символ чего-то особенно важного.

Символ чего? Платон по-старушечьи приложил пальцы ко рту, силясь понять. В колодине, из которых была сложена сидьба, тоскливо и монотонно поскрипывал короед: евер, евер... «Север, Север», — повторял про себя Платон. И тут же хлестко, как выстрел: олень!

Олень... В долинах рек Хилка и Чикоя таежники называют изюбра зверем. Медведь — это медведь, косуля — это косуля, а изюбр — это зверь. Слова «изюбр» и «зверь» тусклые. Кроме того, Платон не думал, что это олень. И не просто олень, а олень из оленей — благородный олень. Платону всегда думалось, что настоящие олени водятся только на Севере. Теперь он вспомнил: благородный олень!

Смотровое отверстие в сидьбе было узким, и Платон стал торопливыми пальцами вынимать траву, которой была заткнута щель между колодинами. Изюбр все время смотрел в ту сторону, где скрылись заргол и матка, но тут он резко повернул свою рогатую голову и глянул на сидьбу — прямо в глаза Платону.

Изюбр сорвался с места, замелькал между стволами берез. Но как он сорвался! Не просто сделал прыжок, а вскинулся на дыбы, крутнулся корпусом и уж тогда взвился в воздух... Между редкими березами изюбр бежал, игриво задрав голову, отчего рога его легли вдоль спины.

— Олены! Олены! Олены! — три раза крикнул Платон, поднявшись во весь рост, и засмеялся.

Звенела вода в Шыныгыристом. Стволы берез красились в синее, по мере того как распадок затоплял сумрак. Над хребтом Платон увидел зеленоватый глазок первой звезды. В похолодевшем воздухе, как это бывает под осень, пронзительно и чисто пахло листом смородины. Платон подумал, что нынешняя осень будет для него спокойной и светлой. В глазах Платона все еще стоял вздыбившийся изюбр — зверь из породы благородных оленей.

## Трое на ледовой дороге

Подмывая края сопок, над рекой тянулся вал белого дыма. Как всегда бывает в конце зимы, Чикокон кипел. Волоча обледеневшие сани и сторожко макая копыта в загустевшую от иглистых кристаллов воду, конь Максима за день раз пять нырял в белую ночь испарений. На твердом Максим торопливо сбивал с конских копыт шишки льда, обрывал сосульки с боков и морды Бусого. Потом, скинув с плеч доху, долго бежал по льду Чикокон сзади подводы — «разгонял кровь».

Огонек зимовья на Каямном он увидел в легких синеньких сумерках. Жестяная труба над крышей дыхла догоревшим смолем, но никто не вышел на скрип саней. Собаки Максима упали на притоптанный снег, с брезгливым оскалом тянулись к лапам, скусывая с пальцев коросты льда. Максим неторопливо распряг коня, насыпал ему в торбу овса. Черная лайка Гера нервно метнулась в густой листвяк и выбежала оттуда с ношей в зубах. Нагнувшись, Максим увидел тушку свежеебснятого соболя. Прихватил рукавицей — большой кот! Баргузинский, должно быть. Кому такая удача: Сморкову или старику Кабанцу? Обснят соболь плохо, с явным браком — на концах лап кусочки меха.

— Чужа рука неловка!

Максим зло швырнул тушку зверька обратно в листвяк. Зависти у него не было: сам Максим охотился нынче в нехоженных падах, на той стороне гольцов. Добыл тридцать два соболя, двести белок, сохатого, пять кабарог. Много соболей попалося Максиму дорогих, темных — баргузинского кряжа. Против соседей на Каямном ключе он, в общем-то, ничего не имел, если не считать одного-

двух пустячных вопросов. Взять хотя бы такой: зачем люди едут с одного конца земли на другой? Не то из-под Киева, не то из-под самой Риги притащились Кабанец и Сморков. А зачем? Тайгу только по телевизору знают, охоту — по воскресным прогулкам. Искать романтику поздновато: из Кабанца песок сыплется, Сморков зубы в пьянках порастерял. Охальные сибирские деньги людям почудились.

Поколотив одна о другую обледенелые ноги, Максим дернул на себя скрипучую дверь, нырнул в липкое тепло зимовья. Пиликало радио, метнулось пламя свечи, рука Кабанца мелькнула: что-то быстро спрятал старик под спальник.

— Уй! — иронично и громко крикнул Максим. — Черный соболю! Удалый ты! Хвастай, начальник...

За толстыми линзами очков зрачки Кабанца крутнулись, как пугливые рыбы за льдинками. Носком валенка он сердито толкнул мухрую собачонку. Нехотя покопался в складках постели, нашарил соболя, тряхнул: распушились ворсинки меха, катнулась иглистая черная молния. Как говорится в подобных случаях, у Максима от удивления «челюсть отвисла». Каждая ворсинка была сама по себе, и каждая ворсинка источала сияние. Черное солнце! Мех был густой и темный — темней баргузинского. Максим много по тайге шастал — не видел похожего. Помнит, правда, отец однажды принес такого с вершины Жаргохана. От отца, когда он приходил из тайги, сладко и загадочно пахло кедровыми ветками, а за черного соболя отвалили тогда полторы тысячи старыми.

— Обснял ты плохо, — сказал Максим. — Приемщик процентов сорок скостит. Лапы порвал.

— Частник на лапы не смотрит! Ему плевать! — сказал Кабанец, потряхивая соболя, собрал морщины на лице в мечтательную ухмылку: — Таких два-три, и целая «Волга», «роллс-ройс» с серебряными колесами! Золото! Какая-нибудь графиня Лоранс из Парижа не глядя бросит четыре косых...

Но вдруг Кабанец пришел в себя и осекся. Сидел с прикушенным языком, обалдело ворочая белесые глаза за льдинами линз.

— Мечтаешь? Зря! — ухмыльнулся Максим, показывая в улыбке белые квадраты зубов. — Выйдем на базу,

я первым делом в милицию позвоню, егеря вызову. Максим Борисов прямой, как гвоздь, и гладкий, как обух. Не заржавеет!

Максим бухнул Кабанца по плечу тяжелой рукой, подкинул в жестяную печку дров. Затрепетали красные ленты пламени, наперебой застреляли поленья. Максим занес с мороза кожаный турсук, выложил на замусоленный столик харч: каравай деревенского хлеба, сало, матерчатый кулек с сахаром. Еще подкинул поленьев в огонь. Нарубил топориком сала — изжарил на сковородке. Налил чаю Кабанцу и себе в широкие кружки из алюминия. Кивнул старику, но тот отвернулся, невнятно ворча.

— Уй! Обиделся? Садись, садись! Не люблю есть свой хлеб под одеялом. Прошу!

Максим снова бухнул Кабанца по плечу тяжелой рукой, глядя ему в очки все с той же ироничной ухмылкой. Глаза у Максима маленькие, зверовато-цепкие, нос короткий — две круглые дырки на копченом лице. От этого вид у Максима нахрапистый, беспокойный.

Кабанец присел к столу. Пугливо, с видом очень голодного человека пихал в рот куски сала и свежий хлеб. Растерянно швыркал чаем, потом спросил:

— Почему такой злой?

— Интересно? А вот слушай, я тебе расскажу сказочку! Жил-был парень — работающий, смирный. Простой деревенский парень-то. И был мастер-ломастер Теслов, потаенная сволочь, Змей Горыныч, которым ребятишек в сказках пугают. Был-то он там, где бы не должно быть сволочей — ни тайных, ни явных. Взятки брал, души высасывал. Ты ему десятку — он тебе материал в бригаду вне очереди и без задержки. Ты ему стол в ресторане — он тебе наряд с припиской. Один парень — он работать приехал к этому Теслову, — когда узнал про это — аж задохнулся весь! Надо бы идти в райком-местком, а парень наш туда не умел ходить. Пойти-то пошел, да сам оказался оплеванным. Горыныч-то, он какой? Он скользкий, как рыба! Тогда парень скараулил его, где надо, и врезал меж глаз, по-деревенски, попросту. Тут и сказке конец: Горыныч делал примочки у себя в белом доме, а парня увезли в серый — три года на всем казенном.

Максим закатал рукава рубахи на левой руке. Чуть

выше локтя синим был наколот рисунок: пень с корнями-щупальцами, в пень воткнут меч, обвитый змеем. Под рисунком буквы: «Нет счастья в жизни».

— Профессионалы отсидки печать приквасили. На память. Я ведь только год отбыл. Один день за три считали. На стройке тоже вкалывал. Профессионалам это не нравилось.

— Хлопец ты добрый,— сказал Кабанец, с какой-то умильностью поглядев на Максима.— Наш хлопец! Ты это... про черного соболька-то... Не видел ты его у меня. Покрышки для мотоцикла тебе вышлю, нейлоновый свитер супруге. В Киеве у меня знакомство со всей торговлей зараз...

— Уй! — зашелся Максим в хриплом хохоте, откинувшись на прокопченные бревна стены.

Но вдруг, оборвав хохот, резко прынул вперед, нацелил на Кабанца дырки ноздрей, скривил рот:

— На гадах я чокнулся! Понял? Лучше я поползу на карачках, чем поеду на твоих сволочных шинах! Свет застите! Зачем тебе соболей? Кучу наворочать в сберкас-се, чтоб потом сынок твой в кулак хихикал, глядя, как другие тянут лямку? Я тебя насквозь, гада, вижу!

У стола на земляном полу сидела мухрая собака Кабанца, голодно сверкавшая глазами на едоков. Как бы придя в себя, Максим резко поднялся с лавки и вышвырнул собаку за дверь. Забайкальские охотники никогда не держат собак в зимовье или избе, считая это дрянной привычкой. Но Кабанец привез эту собаку с собой, позарившись на ее медали и купив ее не то на барахолке, не то на собачьей выставке.

Максим разостлал на нарах спальный мешок, хохотнув напоследок:

— Эй, дед! Сморков-то у тебя где? Под сосной в сугроб закопал? Из-за черного подрались? Сморков его добыл, а?

Кабанец плаксиво наморщился и даже осенил грудь крестом:

— Бог с тобой, чего мелешь? Задержался Сморков, тунец шелудивый! На Широкую послал его капканы снимать. Продукты у нас кончились, сухарей вот жмени двести осталось. Мясо с Буркал сволокешь, с тобой уедем — с голодухи куда пешком утопаешь, мужичок дорогой?

Дешевенький транзистор, висевший на стене зимовья,

поучал пастьбе тонкорунных овец. Кабанец перевел ручку приемника. Певец пропел бодрящим картофельным голосом:

Все еще впереди,  
Все еще впереди-и-и.

Потом голос скрипки проколол тишину зимовья шилом тоски. Максим почувствовал, как узкая полоска стали вонзилась в сердце и закачалась — меч, брошенный с высоты, Максим лежал на нарах лицом к стене. От стены пахло березовой сажеей и пыльным мхом. Сон не шел — нервы были натянуты. Максим переутомился, пробиваясь через наледь.

Кабанец, шебурша, как мышь, натянул на пялку шкурку черного соболя. Воткнул конец пялки в паз между бревен, Кряхтел, ворчал под нос, плевался, курил. Опять зашебуршал по сухим бревнам стены. Максиму показалось, что он пересадил пялку с соболем поближе к своему изголовью. «Бойтся — украду», — усмехнулся Максим.

Мешая спать, всю ночь скреблась и визжала собака.

Утром часов в шесть Максим услышал: гудят дрова в печке, жесть трубы потренькивает от жара, собака хрустит сухарем под нарами. Старик чешет спину, зевает; видать, не спал всю ночь, соболя караулил...

Максим! выбежал по нужде за лесок, задал коню овса, стал натирать руки и лицо снегом — мылся.

Кабанец поставил на каленую жесть печки котелок с вчерашним чаем. Максим занес с мороза ковригу хлеба и сало — мешочек с сахаром он оставил с вечера на столе. Теперь, отхлебнув из кружки глоток, увидел: мешочек, такой пузатый и тугой вчера, схудал, осев чуть ли не до самой столешницы.

— Уй, начальник! — захохотал Максим. — А ты за-пасливый!

— Это собака, собака! — забормотал Кабанец.

Глаза его побелели, расширились под льдинками стекол.

— Закона тайги не знаешь? — презрительно скосил на него глаза Максим. — Собаку в тепле держишь, куски в одеяло прячешь, а?

Максим сгреб со стола еду, крепко завязал турсук, сшитый из сыромятной кабарожьей кожи. Быстро запряг

коня и выехал, не дожидаясь рассвета: торопился окунуться в свое, в привычный мир одиночества. После того как он избил на стройке мастера Теслова и получил срок, люди для него были непонятны, страшны. Непонятны поступки: ложь, желание быть нарядней и богаче соседа, измена жене или другу, воровство, лесть, лень, трусость. При виде этого в людях Максим терялся: а само он лучше других или хуже?

Ночью мороз звякнул ладный — крепко остеклило наледь Чикокона, и она глянцевито мерцала, расцарапанная гвоздями звезд. Над чернотой кедровых падей маячили ночные гольцы...

На Каямный Максим вернулся через неделю. Лицо его совсем почернело, заветрилось. Губы потрескались, а щеки одрябло стекли вниз и покрылись пегой щетиной. Коня Максим тоже ладно устрепал: крестец Бусого торчал над впадинами живота двумя пнями, глаза слезились. Но игра стоила свеч: Максим нашел через гольцы санный путь, и теперь зверопромхоз может промышлять по ту сторону не только белку и соболя, но и копытных. На водораздел Максим поднимался ключами, покрытыми пластом накипи — что твой бетон! Кое-где, убирая древесные завалы и камни, пришлось попотеть. Но дорога есть, и — главное! — Максим вывез сохатого, которого завалил в Буркалах.

Кабанца и Сморкова Максим не застал на Каямном. Ушли. Воздух в зимовье был еще теплым, значит, ушли часа два-три назад. Печки в зимовье не было, и Максим сварил обед на костре. Таежная избушка изнутри видела странный. Исчезла не только печка. Зимовщики забрали топор и пилу, навечно «приписанные» к этому зимовью, все свои капканы и даже те ржавые, что были брошены в угол прежними охотниками. Зато оставили еще довольно хорошие резиновые сапоги, безрукавку из бурой овчины, брюки на вате. Сапоги и ватные брюки принадлежали Сморкову, и по следам на легком снегу поверх наледи Максим понял, что приятели поссорились: Сморков пошел налегке, с пустой котомкой, Кабанец смастерил нарту, нагрузил ее барахлом и тянет по льду. Максим ухмыльнулся, представив себе эту нарту. Впереди тягота немалая: Чикокон — весь в перекатах, мелких каменистых плесах и яминах — ярится, кипит. Вода катит в три этажа: коренная струя под толстой корой,

старая наледь с корой потоньше, сверху — открытый налив с валом тумана. Снежное месиво, черные рты тальцов, непролазная чепура чащоб, отвесные срезы скал...

Бусый, ломая крышу старой наледи и надрывая жилы, одолел первую такую дурь, когда Максим увидел сквозь дым наледи расплывчатую тень Кабанца с нартой.

— Мать божья! — захлюпал носом старик, кинувшись распутывать нарту. — Думаем, замерз хлопец на гольцах вместе с конем. Пурга была? Сморков вперед ушел, кинул меня, тунец поганый. Тяни, говорю, санки, ты молодой, умытарюсь один, а ему плевать зараз...

— Начальник, уй! — сказал Максим, взяв прежний тон. — Тебе только пожарником быть: шибко ты торопливый! Ситуация такова: или ты, или твое барахло. Конь — не трактор.

— Деньги платил за капканы, за печку. Сдать в промхоз надо, какое мое богатство — десять белок, три соболя? Сморков бросил, и ты, подыхать мне тут?

Максим снял молоток, подвязанный к передку саней, и стал сбивать с копыт Бусого лед.

— Конь пристал, паря-начальник, какой разговор? Сам видишь.

— Коня тебе жалко! Коня жалко, человека не жалко!

— Разные человеки бывают, — ухмыльнулся Максим, садясь на воз и трогая Бусого. — Ты, например, левак и шкурник.

— Стой, стой! — закричал Кабанец, сграбастав с плеча ружье и щелкнув курками.

Максим ехал, не оглядываясь. По левому берегу высились торчки скал. Кедров с темно-зеленой хвоей толпились на самом краю обрыва, цепляясь за выступы. Белели скелеты деревьев, застрявших в камнях.

Сморкова Максим догнал через час. Тот молча упал в сани на тушу сохатого, накрытую брезентом, и протянул руку:

— Дай закурить! Спирт есть?

Лицо у Сморкова было мятое, будто кто-то большой и тяжелый наступил на него каблуком сапога. Теперь лицо это обросло желтым прямым волосом и стало похожим на пшеничный колос.

— Старик топает?

Сморков в несколько сильных затяжек выкурил папи-

росу, вынул нож и, откинув край брезента, стал строгать ножом мясо. Жадно кидал в рот ленточки сохатины.

— Топают твой друг. Что ему? — сказал Максим. — В пассажиры просился. Не взял.

— Друг! — хмыкнул Сморков, блеснув зубом из нержавеющей стали. — Сивой кобыле друг! Самим бы живым выплыть, а он бодягу всякую в зимовье пособи-рал. Вези, говорит. Вот осел! На Широкой я потерял топор да два десятка капканов, так он чуть в драку не лезет — казенные, говорит, копейки спросят!

На гривах кедровых падей поблескивал куржак. Све-жо и остро пахло веткой смородины, раздавленной где-то копытом сохатого. Собаки, которых Максим после Қаям-ного отпустил с привязи, нервно кинулись в подлесок правого берега.

— В тайге, я понял, жить надо неторопливо, тихо, — сказал Сморков. — А старик мне сопли повыкрутил. Бес-ится: думал, соболи в Сибири, как воробьи на колхоз-ном току — тучами!

За поворотом Чикокон снова окутался ватой тумана. Далеко позади ярились собаки, поставив сохатого. От наледи запахло водяным мхом, свежестью рыбьей слизи. Бусый зашлепал копытами по загустевшей воде, в кото-рой плавали иглы льда, темнели полосы задохшейся рыбы, выброшенной наверх фонтаном. За санями тянулся след, как от лодки. Белая ночь скрыла небо и берега. Вода хлюпала у самой поклажи. Сморков поджал под себя ноги, опасливо поглядывая вперед. Сани качало, как на резине, бежал сочный треск в сторону того и дру-гого берега. Сани мотнуло, накренило, и воз вдруг с хрустом и хлюпом полетел в яму.

— Держись! — крикнул Максим, прыгая в воду.

Он ударил коня концами вожжей, и Бусый рванул, вздыбив сани. Но воз опять рухнул, взбурлив воду и об-рушив этаж наледи. Чтобы облегчить работу коню, Смор-ков тоже прыгнул в воду. Максим, ревя ругательства и запинаясь о всплывшие крыги, махал вожжами, но конь уже вылез на крепкий лед и ходко забирал к ле-систому берегу.

Ичиги Максима чуть ниже колен плотно схватывали ремни, на голенища спадали гачи брезентовых штанов. Ноги у Максима остались сухими. Но Сморков оцепенел, чувствуя, как в ичигах разбухают портянки и стельки

от ледяной воды. Он стоял по колени в наледи, сгорбившись и растерянно растопылив руки.

— Беги! — крикнул ему Максим. — Лесом, лесом беги!

Вода шла поверх льда Чикокона ровной лавой. С крутого берега с шорохом падал подмытый снег. Хлюпая наледью, Максим обошел коня и поправил съехавшую набок упряжь. Ниже метров на триста Чикокон ударял в скалу и делал крутой поворот. Обрыв правого берега напротив скалы кончался, открыв прогал с зарослью ерника. Максим направил коня в этот прогал. Бусый попер сквозь кусты, как вездеход. Затрещали оледеневшие сани, тяжело буцкая по кочкам. Шерсть коня дымилась от пота, ошметки мыла падали в снег. За бором, где-то около сопок, гавкали собаки. Сохатого держат?

На поляне под выскорью лиственницы Максим развел огонь, содрал со Сморкова ичиги, растер ноги спиртом, дал отпить из бутылки. Натесал топором мяса, еле отогнув с краю обледеневший брезент. Ичиги, портянки, штаны Сморкова сохли на палках возле костра. Сам Сморков кутался в большую гуранью доху, выглядывая из нее, как суслик из норы.

— Не снилось, что вот так буду сидеть возле костра в дикой тайге, — сказал Сморков, еще раз отпив из бутылки. — Хорошо!

— Кабанец сманил?

— На барахолке с ним познакомился. Старик бизнес делал: собачину под песка и рысь перекрашивал. Махнем, говорит, в Сибирь. Все равно, мол, ты — тунец! Набьем соболей, иностранным туристам сбудем. Копейку, говорит, собьем великую... Фантаст!

Заискивающе улыбаясь Максиму, Сморков опять потянулся к бутылке со спиртом. Максим подумал, что сейчас за сто граммов Сморков все отдаст. Одно слово: алкаш!

— Ну, и много вы соболей добыли?

— Пять. Не волнуйся: сдадим всех вашей конторе. Башли нужны на дорогу! Черного тоже сдадим. Кабанец в лицах изобразил, как ты его милицией страховидничал. Дружинник ты или как там по-таежному?

Лиственничные бревна давали устойчивый жар, закипел котелок. Собак не было слышно, но в той стороне, где они лаяли час назад, раздался выстрел. Максим

пожалел, что отпустил собак с привязи. Но теперь уже было поздно думать об этом...

— Что это он все на тебя «тунец», «тунец»? — спросил Максим, выкладывая вареное мясо на кусок бересты.

— Тунец — сокращенное «тунеядец». Для экономии букв. Кабанец на всем экономит. Чокнулся на мысли купить тележку. «Волгу» ему дозарезу надо! Да-а-а... Кедрами пахнет. Костер! Розовое детство. Мечты! Останусь я у вас! Навсегда!

Максим усмехнулся. То ли он устал за дорогу, то ли ему чем-то понравился этот мужик, но Максим потерял свой иронический, недружелюбный тон.

— Бичевать брошу! — глотая горячий суп, продолжал Сморков. — Тайга — она лечит. А я-то ведь на край сошел, Макся!

Одежда Сморокова уже просохла, пора было ехать, но Сморков завелся. Почти половину сезона он провел на Широкой в молчанке, да и спирт действовал.

— Через бабу! Был, как все: завод, вечерний техникум, женитьба. Красивую в жены выбрал. В мини-юбке. Нетерпеливую. Хаты не было, на очередь стал, а ей невтерпеж было: жить хотелось красиво да поскорей! По женской части подкатилась к председателю квартирной комиссии. Две ночи за ордер. Дешево? Когда узнал это, объясняет: ключ от новой квартиры был в яйце, яйцо в утке, а утка у председателя квартирной комиссии. Человеческое, говорит, слишком человеческое — значит, нечто животное. Слова Акутагавы Рюноскэ. Начитанная была! Но мне-то солнце от этого ее трюка показалось тогда бетонным, трава фиолетовой, небо бурым. Дальтонизм психики. Далее как по сценарию: пил, бил, падал в грязь, шатался по городам. Теперь вот в тайгу забрел. Может, к счастью?

Максим почистил котелок снегом, пошел покормить коня. Сморков обулся. Прибежали собаки. Бока лаек раздулись — обожрались чего-то. Ненапрасно раздался выстрел под сопкой: сохатого завалил Кабанец! Максим обругал собак, начал подгребать ногой снег, чтобы потушить костер. Но Сморков не дал этого сделать, подвинул в огонь концы обгоревших бревен:

— Пусть старикан прогреется. Увидит издали дым, подойдет.

К зимовью на речке Увалистой успели приехать за-

светло. Нарубили дров. Сморков после сытного ужина завалился на нары спать. Максиму было беспокойно. Раза три он выходил из зимовья — слушал ночь. Звезды — льдинки мерзли в синеве неба. Кедровые пади сливались в сплошную чернь. Где-то там осторожно дремали изюбри, бежал по козьему следу волк, глухари спали в кедровых космах. Хищный соболь крался к беличьему дуплу. И по бело-зеленой ленте реки, вившейся между лап черных отрогов, тащился одинокий старик. А может быть, волки в жутком вое опевают его кончину: вмерзает, мертвый, в наледь? Пожадничал, нагрузил нарту мясом сохатого, из сил выбился. С неопытным человеком в тайге всякое может случиться.

Бусый, закосмаченный куржаком, зеленый от лунного света, мотал головой и хрумкал овсом. Собаки Алдан и Гера, чувствуя настроение хозяина, медленно поднялись с лежек. Алдан ткнулся мордой в ноги Максима.

— Худо, Алдаха? Не было печали — черти накачали, а? Ты тоже пакостник добрый: браконьерничать по-собляешь. Сохатого зачем ставил?

Скатываясь с сопки, позади зимовья молча толпились кедры. Зимой косматые кедры спят, как медведи. Летом растут, дышат, никому не мешая. Почему люди не живут, как деревья? Радовались бы солнцу, зелени, воде, тишине... Но у деревьев-то одного цвета кора, одного цвета хвоя, под корнями одинаковая земля. А человек выделиться норовит из массы себе подобных. Этому ши дай понаваристей, тому одежду покрасивей. Нетерпеливые жмут в обход, начинают шкурничать. Та, в мини-юбке, минуя очередь, ищет ключ от шикарной квартиры: «Ключ в яйце, яйцо в утке...» Мастер Теслов ресторанные деликатесы фиктивными нарядами промышляет. Кабанцу «тачка» нужна — в Забайкалье ринулся натолкать за пазуху соболей. Гиль и дичь! Душа и ум Максима этого никогда не вместят...

Было далеко за полночь. Мороз мытарил тайгу, изредка в кедровнике раздавался негромкий треск — рвалась древесина. Максим зашел в зимовье и подбросил в печурку дров. Мастер Теслов! В таежном одиночестве Максим отвык от людей, давно забыл, что с ним было на стройке. Но сейчас память услужливо вынесла наверх сцену суда. Максим стоит, сощулив глаза и нацелив в зал нахрапистые дырки ноздрей. Мастер Теслов

с пятном пластыря на распухшем глазу держит речь. В длинном ряду свидетелей есть и друзья Максима — бетонщики из бригады. Они делают ему знаки: сейчас ты говори, защищайся, мы тебя поддержим! Адвокат тоже в курсе — все будет в порядке. Но Максим упрямо и четко, как диктор с телестудии, говорит в зал: «Признаю себя виновным». Зло корявой лапой давит ему на сердце. На себя зло, на людей: разве не говорил он раньше парням о фокусах мастера Теслова? «Катись ты! Нам прибарахлиться надо. Приписки его расстроили! Святой нашелся». Он сам, как умел, поговорил с мастером Тесловым. Прошелся кулаком по его пухлой роже. Отсидит срок — уедет в тайгу. Будет охотиться. Станет чашобным жителем, как отец. Отец жил, как живут деревья. От него всегда веяло кедровой хвоей. Покоем, миром веяло от отца. В жилах отца текла кровь эвенка — от деда.

Теперь и Максим познал спокойную радость одинокой таежной работы. Сдал соболей, белок — и поплеывая через прясло. Песни по радио и цветное фото журналов доносят отголоски мира в таежное зимовье. И мир этот хорошо профильтрован: щекотный, радужный и веселый, как в детстве. На лето Максим тоже уезжает в тайгу. Рыбачит. В деревне его считают немного чокнутым. А он и правда когда-то чокнулся, на гадах чокнулся! В прошлом году поехал купить аккумулятор и покрышки для мотоцикла — все это не в магазине, а на барахолке увидел, у спекулянтов. От злости и удивления скулы свело: убивать таких надо! На месте ученых он бы машину создал — дурь из людских голов вышибать. Неподдающихся разлагать на молекулы, чтобы с помощью той хитрой машины нового человека из этого материала слепить. Мастера Теслова, барыг с барахолки и шкурника Кабанца он бы в первую очередь в эту машину сунул.

Максим поставил согреть чай. В жестяной печке с насквозь прогоревшими стенками пылали поленья. От бликов огня бревна зимовья ворочались и двигались, как живые. Сморков спал с разинутым ртом — светляком блестел стальной зуб. Максим посмотрел на часы: шел третий час. Что теперь с Кабанцом? От Каямного до Увалистой — ни одного зимовья, остановиться негде. Не иначе замерз Кабанец. Укорить Максима в его смерти никто не сможет: конь у Максима был перегру-

жен, а старик отказался выбросить из мешка железо. Капканы, печку, топоры, сковородки — все пособирали в зимовье. Сохатого дорогой убил без лицензии. Кабанец — браконьер, шкурник.

Однако чувство тревоги у Максима росло. Он снова оделся и вышел из зимовья. Бусый совсем закуржавел — стоял толстый и мутно-белый, как привидение. Дремал, отквасив толстые губы. Лайка Гера подлезла под брезент и грызла на возу мосол. Дипломатичный Алдан метнулся прочь от саней. Чернели горбы хребтов и кедры позади зимовья. Казалось, что чернеет тревога, затопившая землю. Человек погиб. С маленькой, с самой мизерной буквы, но все-таки человек.

— Надо ехать, надо ехать! — пробормотал Максим, отвязывая повод Бусого.

Но в это время собаки чутко прянули в сторону реки. Настрополили уши. Максим и сам услышал далекий хруп снега. Максим привязал коня. Закричал, чтобы идущий не проскочил впотьмах мимо зимовья:

— Сюда, начальник!

Кабанец выполз на берег снежной глыбой. Валенки, телогрейка, шапка, штаны — все на нем коробилось, белело от куржака и льда.

— Уй! — хохотнул Максим, против желания взяв прежний пасмешливый тон. — Не то привидение, не то Змей Горыныч — весь из сахара!

Кабанец негромко стонал. Заледенелые чурки валенок едва волок, держал обеими руками живот, будто его только что пырнули ножом. У дверей зимовья упал. Максим перетащил Кабанца через порог. Сквозь морозный пар запахло уборной. Старик корчился, держа руки на животе. Максим подумал: пожадничал, обожрался полусырой сохатины — кровавый понос. Человек в таких случаях изводится на дерьмо. Иногда умирает.

Максим разбудил Сморкова. Тот не выказал ни страха, ни удивления. Равнодушно почесал в бороде, разглядывая тело Кабанца, белевшее на полу. Максим турнул в печку поленьев. Запотевшие линзы очков старика белели двумя огромными бельмами. Черные веревки морщин стянули кожу лица, а челюсть скривилась, как у «зубатки» — кеты, отметавшей икру. На Дальнем Востоке, отбывая срок, Максим видел такую рыбу. Кажется, на речке Орель. Отметав икру, кетадохнет, но перед этим

неведомая сила корежит ей челюсти, и в пасти вдруг вырастают клыки.

— Люди — мухи, — зевая, сказал Сморков. — Только вот хлопот старичок наделает: земля мерзлая!

— Чепуху городишь, — рассердился Максим, понимая, что с этого жалкого алкаша не будет помощника, если ему не плеснуть в кружку спирту. — Ну-ка, сдерем со старика валенки и штаны.

Раздетого Кабанца положили на нары, Максим занес фляжку с остатками спирта. Заткнул за пояс топор, нашарил в сумке электрический фонарь, дававший неяркий желтый свет.

— Бодан пойду поискать, — сказал Максим, — корень бодана — лучшее лекарство для живота.

Собаки лениво и удивленно побрели за Максимом в кедровник. Снег тускло полосатился от лунного света. Мороз царапал лицо.

Максим, осыпая куржак, полез сквозь чащобу к кустам ольхи. Под ольхой в кедровнике всегда есть бодан. Максим начал разгребать снег. У самой земли в желтом свете фонаря он увидел хрусткие темные уши — листья бодана. Стал рубить топором мерзлую землю, стараясь угадать поближе к целебному корню. Потом спустился косогором к каменной россыпи в надежде найти кустик арсы. Но вместо арсы увидел в снегу пихтовые лапы. Нарубил пихты, сломал несколько кедровых веток. Снег на косогоре доходил до самого паха.

В тепле зимовья Максим почувствовал, что он и сам едва держится на ногах. Кабанец хрипло стонал, то и дело с помощью Сморкова выползая за дверь. Максим накидал в кружку кореньев, залил их кипятком, добавил хвой кедра и пихты. Минут через тридцать дал старику выпить этот отвар. Сморков еще раза два вытаскивал старика в холод ночи, потом Кабанец затих — не то забылся, не то уснул.

— Через час надо разбудить, плеснуть еще бодана, дать мясного бульона, — сказал Максим, наливая себе в кружку густого горячего чаю.

Ветки кедра и пихты оттаяли, покрылись каплями влаги, и в зимовье густо запахло весенним лесом. Сморков глотнул из фляжки спирту, поднес к лицу кедровую ветку, шумнул носом, втягивая запах талой смолы. Сощурился, растопырив колкие остья бороды:

— Оранжевым детством пахнет, а? На месте сердца у меня бутылка стучит. Дальтонизм психики: топор, тьма! И вдруг огонек в колодезной тьме. От запаха кедровой ветки, от дыма лесного костра. Невероятно? Останусь я у вас, а? Макся! Самое «то»! Пить брошу...

В полумраке зимовья волосатое лицо Сморкова желтело подсолнухом. Максим тоже растер в пальцах несколько хвоинок, понюхал. И опять сразу вспомнил отца. От него всегда веяло запахом кедрача, беличьим мехом, миром и тишиной. Отец был стойкий старик. Спокойный, твердый и стойкий.

Максим вынул из кармана часы. Прошел ровно час, как Кабанец затих. Сморков храпел, уронив голову на край дощатого стола и придавив щекой ветку кедра. Улыбался — виделся, наверное, Сморкову оранжевый детский сон. Максим подошел к нарам, где лежал Кабанец, посветил фонарем. По ослабевшим веревкам морщин лица, по всей позе спящего понял, что старик наладится. Тронул его за плечо. Хотел сказать слова извинения: со зла тебя бросил один на один с тайгой, в санях место нашлось бы, и нарту могли бы подцепить на буксир, ты уж прости! Но вместо этого Максим грубовато сказал:

— Ну, как ты, Змей Горыныч? Живой?

Старик ворохнулся, поправил очки, завязанные на затылке резинкой, крутнул зрачками за льдинками очковых линз, захрипел:

— Черный-то соболь... Жалко! Нарта в талец оборвалась. Сам едва успел, вылез...

— Везучий! — сказал Максим.

Дал Кабанцу еще отвара бодана, отрезал кусочек кабарожьего мяса, налил в кружку супу. Вышел из зимовья под звездное стылое небо посмотреть лабаз: Максим решил оставить в лабазе свой груз, чтобы увезти старика в больницу — налегке будет быстрее! Кругляк луны четко пропечатался на синем стекле неба, чернели кедровые пади. Чернота леса была спокойной, бархатной, мирной. С высоты лабаза было видно, как дымитя наледь Чикокона за острыми пиками лиственниц — будто длинное кривое облако упало на землю.

Кувалдами замолотило в тугой барабан неба — пролетел большой вертолет с грушей под брюхом. Было непонятно, зачем они носятся с этой грушей, но потом Покаля сообразил: в гигантской резиновой клизме — вода. Пожарники набирают ее в резиновые рюкзаки и ручными насосами заливают лесной огонь.

Грохот в небе сначала пугал Покалю — при виде каждого вертолета он втягивал голову в плечи и жался к обгорелым стволам. Но потом привык, понял: вертолетчикам не до него сейчас. Видят они сверху бесчисленные шлейфы дыма, которые сливаются у горизонта в сплошную красноватую мгу.

Не грохот моторов, а странный шорох пугал Покалю. Кто-то крался сзади, не упуская Покалю из виду. Пробежал холодок между лопатками — чудился удар в спину, близкий окрик. Покаля оглядывался несколько раз, видел: мелькает бесформенное, серое и тут же прячется за деревьями в клочьях дыма. Измотанный, усталый и оборванный Покаля слабым движением срывал с плеча двухстволку, взводил курок.

Черный сухой дерн шуршал под ногами, першило в горле. Местами, где под землей дотла выгорели старые смолявые корни, Покаля падал в ямы, поднимая тучи пепла. Земля в провалах была горячей, густо дымили колодины, и Покаля стал понимать, что они (Покаля теперь был твердо уверен, что он идет не один!) догоняют пожар.

Это стало ясным и очевидным, когда ветер вдруг резко переменился и по тайге прокатился горячий вал воздуха. Покале показалось, что на соснах затрещали

иглы, которые пощадил низовой огонь. Идущее сзади испуганно прынуло, вылетело на чистое место, и тут Покаля увидел: стоит лось, матерый бык, но комолый, без коряги на голове — шершавые пеньки вместо рогов. Тоже измотанный, с виновато отвисшей большой губой, с провалами под крестцами и на боках — ни дать ни взять запаленный конь!

Впереди угадывался треск огня, вязкий сиреневый дым цеплялся за вершины деревьев. Бежали они от одного пекла, а вышли к другому! Как не был убит этой догадкой Покаля, он все же обернулся и погрозил кулаком сохатому зверю, матерно выругался:

— У-у, комолая образина! Из-за тебя все! Чтоб ты сдох...

Сохатый стоял с опущенной головой. С губ зверя свисала тягучая слюна, упавшие веки прикрыли темные дыры глаз. Левое ухо надорвано — в драке с волками или собаками. Покаля схватил сук, швырнул в зверя, но промахнулся. Он не сомневался, что это именно тот лось, из-за которого Покаля залез в это пекло — неосмотрительно, глупо. Вроде как таймень в морду, плетеную из таловых прутьев.

Три лося зимой надывал. Бык, самка и годовик. Забрели они в долину Никишихи в конце зимы. Покаля так понял: большие снега, упавшие в хребтах, мешали зверям ходить, а на Никишихе вся трава наголе, кое-где лишь слегка патрусило белым.

Покаля пробавлялся по мелочам — косулю добудет, белку, соболя, рябчика. А тут — лоси!

Он за ними гонялся до самой весны, и все попусту. Весной стал смекать: на раннюю зелень надо выманить, на солнцек. Выжечь поляну — задурит трава на черноте, раздражит зверя витаминистым смачным запахом. А Покаля тут как тут, в скрадке сидит с двухстволкой.

Он так и сделал. Выехал на мотоцикле в Косую падь, облюбовал поляну. А уже горело вокруг Читы, солнце путалось в красных тинотах. Сушь в тайге стояла великая.

И вышло худо: огонь крутнуло лохматым вихрем, гудом взялась поляна — пошло гулять! Покаля сорвал с себя телогрейку, бил по земле, но огонь с воем и хохотом обошел Покалю. Со страху почудилось: люди бегут!

Нырнул в чепуру осинника, кинулся к старой лесовозной дороге, где спрятал свой мотоцикл.

Ночью Покаля не мог уснуть. Дым от лесных пожаров набивался в спальню сквозь рамы и закрытые ставни, Покаля вскакивал: горит тайга, в опасности все живое — беги! И Покаля выходил на резное крылечко, шумно втягивал в себя тревожные запахи дыма. Ноздри его при этом зверовато подрагивали.

Перед самым рассветом стукнуло в голову: личный документ в лесном тайнике оставил! С осени положил охотничий билет в солдатский подсумок, а подсумок забросил в потайной шкафчик, в землянке, найдут землянушку, начнут ворочать, увидят охотбилет — все позывные и координаты Покали. И двухствольную «тулку» найдут, и вкладыш под винтовочный патрон, и химическую отраву на лисиц.

Покаля выкатил со двора мотоцикл и, не дожидаясь рассвета, рванул в сторону Никишихи.

Полоса пожара разрезала поперек Косую падь, жутковато чернела широкая мертвая зона, оттененная факелами пожелтелых сосен. Многие сосны погибли, но огонь не успел уничтожить кроны — пожар был укладистый, низовой. Фронт огня нехотя поднимался по склону сопки, мотались дробленные стволами деревьев обрывки пламени. За сопкой ворошился, жирел дым другого пожара — смолистый, черный. Дымы толкались в самом низу долины, и там уже нельзя было разобрать, где горит, а где нет. Похоже, пожары передвигались в сторону города.

Все это Покаля увидел сверху, переваливая на мотоцикле сопку по старой лесовозной дороге.

Еще он увидел: кривится сахарная лента Никишихи, не отошедшей от зимней спячки, и далеко внизу на острове, образуемом стылой рекой и глыбой наледи, желтеют палатки пожарных. На скатерти наледи лежат палки, комками краснеют флажки — посадочная площадка для вертолета. Пожарные спят — день едва только занялся.

Покаля затолкал мотоцикл в заросли багульника и молодых лиственниц, переметнулся по шербатову льду на тот берег и быстро затопал по горелой земле. Был Покаля одет во все черное, и даже ястреб не заметил бы сверху его ссутуленную фигуру. Идущего выдавали лишь

фонтанчики пепла, которые вырывались из-под подошв кирзовых сапог.

За браконьерами укрепилась слава людей бесчувственных, грубых. Но Покаля все понимал и все чувствовал. Его не покидало ощущение ночного мрака. Утро занялось, светлый день утверждался над долинами и горными кряжами, а Покаля шел по дну темной ночной могилы — некая оратория плача ударила ему в грудь. Дымились пни и колодины. Обугленные стволы деревьев и струи дыма напомнили Покале пепелища войны и некие «черные дыры».

Это ему сильно ученый свояк рассказывал: бога нет, есть только одни черные дыры. Сваяк — шишка немалая, при чинах и регалиях — «сам с усам». Есть, мол, в необозримых космических далях черные дыры, антимир. Дыры вбирают в себя, всасывают со страшной силой солнце, звезды и обитаемые планеты, в перемолотом виде выбрасывают по ту сторону вселенной, в это самое «анти». Никто не узнал, что там, за черными дырами, и никогда не узнает. И вообще — «все там будем»! А потому, мол, лей себе на голову мед и масло, чтобы не помнить про черные дыры и антимир.

Возили свояка в большой черной машине, на турецких коврах. В огромной квартире (с непривычки заблудишься!) тоже везде пестрели ковры, сверкали золотые и хрустальные люстры, мебель под слоем лака играла древесными разводами, живые игрушки — пуховые коты, черепахи, холеные собачки — бегали в коридорах и детской комнате.

Но больше всего Покалю удивил стол: заморские бутылки, брусника, рябчики, амурский осетр, байкальский омуль, розовое медвежье сало, сохатинные губы. Знал свояк: Покаля — охотник, нарочно хотел удивить дарами тайги, морей и рек. Все-то, мол, мы имеем и все-то можем...

— Ух, ты, зараза! — искренне удивился Покаля. — Мы в тайге, почитай, живем, и то не всегда имеем такое добро!

— Кесарю — кесарево, богу — богово, — польщенно засмеялся свояк, подбирая брюхо и наливая в рюмки коньяк.

— Но омуль-то как, откуда у тебя омуль-то? Ведь

давно уже омуль ловить запретили. Да и осетра, говорят, осталось едва на расплод — штрафы лепят.

— Ну, это дело техники, — сказал свояк, — замнем для ясности.

В том большом городе жил Покаля недели две (хотел сразу сбежать домой — жена не дала) и, странное дело, вроде бы привыкать стал. Перины на гагажьем пуху ласкают бока, ночные лампочки по стенам в виде причудливых птиц — из разноцветных дорогих камней сделаны! — покой наводят. Утром встал — ноги утопают в ворсе ковра, как в траве. Красивые, дивные чугунные старики и девы смотрят на тебя со всех углов. В умывальной комнате — зеркала, каменные плитки с картинками, коробки со всякими порошками, хочешь — лесную хвойную воду делай, хочешь — морскую или минеральную: молодись, освежайся. Славно-то как!

А тут еще свояк вечерами (не совсем, видать, заважничал, раз с простецкой родней беседы беседует!) науками отесывает Покалю. «Того света» нет, рая нет — рай надо на земле делать (обводит руками свою квартиру). И опять про черные дыры и антимир.

Таких страхов наговорил ему грамотный, поученый свояк, что Покаля две ночи напролет глазами лупал, глядел в невидящие глаза чугунных старцев, думал: может, так и надо жить? Высоты свояка ему, конечно, никогда не достичь, но если начать пригребать... По мелочам за Покалей и раньше водилось: прихватить доску с работы, карман гвоздей, олифы бутылку...

Лет через пять Покаля понял, что немалый прибыток можно иметь через тайгу — возобновилась мода на воротники, шапки и шубы из натурального меха. На изюбятину, косуль, боровую дичь тоже находились любители с кошельками из невсамделишной крокодиловой кожи. Покаля купил мотоцикл с коляской, для парадных выездов — «Жигули», в сарае оборудовал объемистый холодильник — слесаря мастерских по ремонту торгового оборудования собрали из утиля. С осени Покаля улетал на Витим, остальное время года уходил по выходным на Никишиху — был у него любимый уголок в Косой пади.

И вот теперь все это уходило, рушилось. Тайга горела со всех сторон. Ухнул взрыв, и Покале показалось, что загорелся и взорвался мотоцикл, брошенный им в ку-

стах. Взрыв повторился.— земля задергалась от множества взрывов. Сохатый прынул к лесу и побежал. Горький шершавый дым царапал глаза и горло. И взрывы, и дым опять напомнили Покале войну: окалина искоженного металла, трупы, пепел сожженных садов и хат. До реки с ее спасительным льдом оставалось метров пятьсот. Но там творилось неладное. Похоже, по старой гари шел повторный огонь. Как это получалось, Покаля не имел времени объяснить, но он вполне определенно угадывал: вот-вот ударит по желтым сосновым кронам верховой огонь, от которого не будет спасения. Поднимался ветер.

Человек потоптался и побежал в ту же сторону, где исчез сохатый. Ложе ружья больно колотило о позвонок, Покаля со злостью сорвал двухстволку и с треском ударил ложем о ствол старого дерева. Металл, отделенный от лакированной деревяшки, со звоном брякнулся на оголенные корни. Некое ощущение чувства свободы подхватило Покалю: будет живым, дойдет — теперь он дойдет! Будто кандалы со звоном упали с Покалиных рук и ног.

Дым натекал в распадок, как вода. В этой сизой воде деревья качались наподобие гигантских морских водорослей. Бежать было трудно: горький колючий воздух раздирал горло и легкие. Запинаясь о колодник и корни, Покаля падал, кашляя в сухую черную пыль. Пот пополам с грязью блестел на его лице. Морщины на коже щек обозначились четко, как проволока.

Покаля возвращался тем же путем, каким он пытался пробиться к Никишихе. Туда он бежал от двух бед: от людей и огня. Теперь он боялся только огня. У людей можно найти прощение, огонь безжалостен. Там, где люди,— там жизнь.

Сам Покаля не понимал, что возвращается обратно, в угол Косой пади. В голове его крутился такой же туман и дым, как в тайге. Опять с грохотом пролетел вертолет — затих, опускаясь где-то за сопкой. Покаля мысленно брал направление на посадочную площадку. Гул вертолета явился спасением — Покале казалось, что он топчется, кружит на маленьком пятачке. Сердце громко колотилось о ребра, жилы на руках вздулись и посинели от нехватки воздуха. Покаля ошалело натыкался на острые сучья деревьев.

И вдруг ясная полоса солнечного света упала на зеленые кроны сосен и черноту горелой земли. Вал дыма ветром убросило в сторону — вольный лесной дух омыл лицо и горло Покали, легкие заработали торопливо, взахлеб. Покаля делал жесты руками, как бы пригребая к себе живительный воздух.

Ветер срывал пожелтевшие хвоинки и горелые чешуйки коры сосен. Позади загудел реактивный двигатель — такой странный шум услышал Покаля. Он уже собирался лечь на землю (тело размякло от волны свежего воздуха), но будто кто подбросил его: Покаля сорвался и побежал, сам удивляясь неисчерпаемости человеческих сил. Началось самое страшное: ударил по тайге верховик!

Покаля узнал места, да и в ногах обнаружилась легкость. Бросился влево, правильно угадывая низинку с березняком. Факелы невидимых сосен гудели позади и рвались, как бомбы. От жара на голове Покали скручивались кончики волос. И хотя огонь ярился и гудел в стороне, Покале казалось, что он охвачен пламенем. Березняк был спасением — верховику в березняке делать нечего.

В любую засуху таежная почва всегда сыровата, особенно в березняке. Покаля, упав на колени, схватил сук и начал рыть себе что-то вроде окопа. При этом он бормотал про себя: останется жив — любому негодяю, который выжигает лужайки и оставляет в тайге непогашенные костры, он будет отрубать руки. Черные дыры! Не надо ему ковров, лакированных автомобилей и позолоченных ложек. Чистый воздух, хлеб, немного уважения к самому себе и другим — вот что нужно человеку! Главное — чистый воздух...

Плотная завеса, остро пахшая смоляной гарью, окутала все вокруг. Покаля припадал лицом к холодной свежевзрытой земле, вскакивал и снова принимался рыть. Внизу мерзлая земля имела крепость бетона. Палка, которой судорожно орудовал Покаля, стрессом переломилась. Да она теперь и не требовалась: верховик вылетел на лесную редь и там иссяк, умер. Гуднуло напоследок, пахло каленым, как из жерла сталеплавильной печи, и стало тихо. Так тихо, что слышно было падение обгоревших веток за грядой нетронутых огнем сосен да шипение горячей коряги

по ту сторону березняка. Хлопьями оседала сажа, похожая на черный снег.

Земля в березняке тоже была вся черной от старого пожара, стволы берез создавали резкий контраст. Чтобы не видеть эту могильную черноту, Покаля лег на спину, лицом к небу. Дым катился валами, в разрывах синело до невероятности спокойное мирное небо с барашками облаков — детский рисованный кинофильм! Картинки облаков проявлялись и тут же исчезали в белесом. Разбитого треволнениями и беготней Покалю клонило в сон. Сквозь дрему пробивалось желание выйти во что бы то ни стало под надежное чистое небо, на люди. Гарь, по которой он блудил с утра, вызывала в нем ужас, пересечь ее в третий раз Покаля не смог бы — обещаю любые посулы.

Очнувшись, он пошел вперед, в угол пади, и довольно удачно выбрался в здоровый лес, миновал рваную границу огня. Перевалил сопочку и сверху увидел новые валы дыма, черные провалы гарей. Огромный пожар ветром волокло в сторону города, с бедой бились люди — там шло целое сражение с диким таежным огнем. Измотанный Покаля равнодушно и тупо пробивался туда, вниз, забирая в сторону от опасности.

Но скоро опять стало трудно, пестрый лес — листвак вперемежку с осинами и березами — растворился в серо-сизых разводах, почудился сзади треск огня. Ветки деревьев били бегущего по лицу и одежде.

Вынесло Покалю прямо на пожарных. Сновали люди с резиновыми рюкзаками на спинах и медными трубками в руках, мелькали топоры и лопаты: срывали сухой дерн, отрезая путь беде.

Люди делали свое дело, а ветер — свое: кидал ошметья огня — в палых ветках и хвое, слежавшейся войлоком, рождались неукротимые костры. Огонь наступал рывками, и так же рывками отступали бойцы. В гул огня вплеталась крепкая ругань. Мужик с опаленными бровями, похожий на Покалю чернотой лица и дырами на одежде, от бессилия и злости упал на колени, поднял сжатые кулаки:

— Идет! Вот такая сволочь: идет и идет!

На лице мужика, перетянутом вкось, белели мокрые борозды — от глаз к подбородку. Гул огня и этот

мужик с косым лицом, черные кулаки опять ярко напомнили Покале войну, лютость.

Зеленой корягой в низину на ерники упал вертолет. К неровной границе пожара потянули из ерников длинные глянцевые кишки и стали их быстро разбрасывать между стволами деревьев и кустами багульника — в одну сплошную линию.

Залился, забулькал милицейский свисток, и Покалю чьи-то упорные кулаки начали толкать в спину, пока он не покатился в глинистый ров. И только тут Покаля понял: в целлофановых кишках — тротил или нитротолуол, будет взрыв!

Жахнуло, прокатилось эхо под дымным небом, и пожарные в зеленых штормовках снова забегали между деревьями с длинными колбасами взрывчатки в руках. После взрыва осталась белая каменистая полоса голой земли с обрывками корней по краям.

Покаля ожидал, что обозленные пожарные тотчас опознают в нем поджигателя и, может быть, примутся бить, но его равнодушно переталкивали с места на место или совали в руки скользкие целлофановые кишки, принимая за добровольца, отбившегося от гражданской команды. После упадка сил Покаля был «на втором дыхании», бегал вместе со всеми — юркий, небритый, оборванный и голодный. Сквозь окаменелость тягомотины, страхов этой длинной, горькой субботы пробивалась робкая радость: воует с жестким лесным огнем! Сам поджег сам и воует (в тылу раскаяния Покале казалось, что и в этой пади горит по его вине).

Гремели взрывы, пока не кончилась взрывчатка и пока защитная граница не уперлась в гряду камней. Вздудывал ветер, рвал пламя, перебрасывая через полосу обнаженного щебня живые комья огня. Вдоль границы сновали патрульные, пуская струи воды из резиновых бурдюков. Лица пожарных блестели от пота и липкой сажи. Полупрозрачной рваной бумагой в кустах и траве белели куски целлофана.

Необоримая усталость обрушилась на Покалю, и, чтобы не упасть на людях, он отошел в лесок. В кармане прогоревшей во многих местах куртки лежала черствая горбушка хлеба — Покаля представлял, как жадно вонзят зубы в хлебную корку и хоть немного

утолит голод. При одной мысли о еде рот забивало слюной.

Он обогнул плотный частокол молодых лиственниц, глядел вниз, под ноги. И, когда поднял глаза, прынул в испуге. Прынул и повалился: прямо перед ним стояло бесформенное чудовище, сама смерть будто.

И зверь, и человек рухнули наземь одновременно. Это был тот самый лось с левым надорванным ухом. Истощенный беготней в лабиринтах пожаров, загнанный насмерть, бык продирался к людям, смутно надеясь на помощь.

Покаля это не сразу понял. Ударило в уме: смерть явилась! В облике зверя...

Но потом он услышал возле плеча хрипы дыхания, вяло завел руку, стал шарить — рука уткнулась в мягкий ворсистый храп сохатого. Покаля находился в полусне, в голодном обмороке, но тут дрогнул, поднял голову, с трудом расцепив один глаз: нет, не почудилось! Берестяным коробом покоилась у плеча морда зверя. Ухо надорвано — тот же лось, которого он видел утром в кольце пожарищ.

— Ну, вот и встретились! — тихо, полушепотом сказал Покаля.

Ему сделалось спокойно и безразлично. Он опять лег на холодную землю, вынул из кармана горбушку хлеба и так же равнодушно и безразлично стал жевать. С дерева ссыпались отжившие чешуйки коры.

Может, хлеб, а может, дыхание зверя в самое ухо вернули Покале способность чувствовать, жить, двигаться. Он приподнялся на локте, долго смотрел на лежащего зверя и медленно протянул к его рту недоеденную горбушку хлеба. Сохатый не двигался. Разжать рот зверю у человека не хватило сил. Покаля опрокинулся на траву и снова забылся.

Пожарные их так и нашли вместе — зверя и человека. Слышались возгласы удивления, топали сапоги, булькала вода — отхаживали чуть теплого зверя.

Сам Покаля был уложен на чей-то ватник, крепкие надежные руки терли ему грудь, резкий аптечный запах перебивал запах устоявшейся лесной гари.

Окончательно очнулся Покаля, когда ему влили в рот кружку крепкого чая. Он приподнялся на локте и стал жадно шарить глазами, смотря мимо окру-

жавших его людей. Он искал взглядом сохатого. Болезненно и настойчиво крутилась мысль: если сохатый испустил дух, то и он умрет. Между собой и зверем он усматривал тесную связь: все живое — едино.

Сохатый был жив. Более того — он стоял на ногах и пил из ведра, швыркал водой. Круп зверя проглядывал сквозь сумерки огромным серым пятном. В мозгу Покали сверкнул короткий луч радости: жив! Оба живы!

Горел костер. Пожарные переговаривались:

— Над Читой стояло целое море дыма, машины днем ходили с включенными фарами.

— Надо полагать: четыре таких пожара слились в один фронт!

— На Куке верховик ударил — провода на столбах плавилась.

— Парашюты... ветром! Двое пожарных, якуты, залетели на камни — оба сейчас в больнице, гипс на ногах.

— В Якутии — там мох. Пожарный летит с парашютом, целит на мох — мягко!

— А у нас на Оби...

Покаля про себя дивился: вот, оказывается, каких он дел натворил! Тушить читинские лесные пожары приехали люди с Ангары, Оби, из Магадана, Якутска.

— На Бургене, говорят, сам лесник поджег — покосы опаливал, — хрипло сказал мужик, который давеча плакал и тряс кулаками в бессильной ярости, стоя у полосы огня. — Я бы этого лесника посадил на смолявый пень, когда тот возьмется угольями...

Покаля похолодел: вот сейчас его спросят! Кто он такой, откуда и что тут делает.

Но никто не спросил: не только имени, даже и прозвища никто не знал. Покаля — прозвище ему такое дали в поселке, дома. «Живем покаля!» — любил он такую присказку. Но здесь его никто не знал и не пытался узнать.

Сохатый всю ночь топтался вокруг лагеря. Покаля, ворочаясь в спальном мешке, слушал постук копыт и фыркание зверя. Мельтешили вдали злые глаза огня, отрезанного от живого леса канавами. Страшным, зловещим выглядел дикий огонь в провалах ночи.

После полуночи по брезенту и веткам деревьев

тихо зашлепало: падал густой липкий снег! Он валил с неба тяжелыми мокрыми ошметьями, налипал на стволы деревьев, колодины и коряги. Сохатый возбужденно фыркал — очевидно, и он понимал, какое это спасение для тайги. Колючие глаза огня окончательно затерялись в белесом мраке.

Беззвучно и медленно родился белый день, белый-белый. Снег поглотил могильную черноту лесных пожарищ, обвисли под тяжестью небесного груза лапы елей и сосен. Вопреки предреканиям бюро погоды снег будто бы предсказал летчик-наблюдатель из Магадана. Хорошим человеком, видать, был этот летчик!

Покаля с трудом выполз из спальника, руки и ноги сделались деревянными, ныла спина. Сохатый, видать, ободрился — стоял недалеко, склонял морду вниз, что-то жевал. Покаля его сразу увидел. «Все живое едино, все сущее на земле скатано в один неделимый ком, связано одной веревочкой, — вспомнил Покаля вчерашнюю мысль, — и нельзя рвать эту веревочку: будет беда!» Кто забыл это — уходит от природы и простоты в корысть и накопление, ломает природное, древнее, вгоняет себя в тайное самомнение и запальчивость, и все человеческое рушится, падает в «черные дыры», закручивается пружина всеобщей беды, вроде этого страшного лесного пожара.

Зверь в молчании своем и глубоком спокойствии, непривычном при многолюдстве, будто понимал всю людскую жизнь, оценивал. Нерешительно потоптался и медленно направился в глубь уцелевшей полосы тайги. Но прежде чем скрыться за стволами деревьев, сохатый обернулся, поднял горбоносую губастую морду и долго смотрел на людей, на Покалю, пучил свой темно-фиолетовый глаз. Покаля уловил во взгляде зверя усмешку в свой адрес: «Вот так-то, брат!» А кругом все было белым-бело. Свежо и чисто, празднично синели тени деревьев на искрящейся белизне. Но горький запах гарей, напивавший воздух распадка, все еще першил в горле.

## Нгелум людей рода Булятыр

Народ прибывал. Запаленные олени выдыхали горячий пар, жадно хватали губами снег. Между кострами мелькали фигуры пляшущих. Подражая выкрикам ночной птицы, гремел конгипкавун — зубной барабан. Пастухи, согнавшие оленей стада с дальних пастбищ, праздновали конец зимы. Прямо под деревьями были накрыты столы на алюминиевых трубчатых ножках. Садились все, кто хотел. Женщины то и дело вынимали крючьями вареное мясо из котлов.

Старику с робким лицом и неопределенной шероховатой улыбкой подали отдельно: горячую оленину и спирт в кружке. Голову старика покрывала вытертая до плешин авуми из меха рыси. Спирт он выпил не торопясь, за два приема. Зато оленину глотал быстро, большими кусками. Было видно, что ему редко приходится есть свежее мясо. После еды он тщательно облизал пальцы. Выпивка сделала старика смелее: он останавливал знакомых и незнакомых с целью заговорить. Охотовед Трохин раз или два видел в поселке этого старика. Звали его Бакадя. Жил он в маленькой избушке, отгороженной от поселка порослью ерника и лиственниц. Гостей у него никогда не было — дружбу с Бакадей никто не водил. Робкой тенью старик проскальзывал в магазин и обратно.

Теперь, похоже, Бакадя развеселился. Останавливал пастухов и охотников, что-то говорил им. Но те отмахивались от него или поворачивали обратно.

Пожилых и старых эвенки всегда почитают, и поэтому Трохину показалось странным отношение к старику. Старик метался в поисках собеседника, а люди от него шарахались как от сумасшедшего, хотя вид у Бакади был вполне осмысленный. И даже в толпе, куда проникал Бакадя, создавались провалы. Эвенки отод-

вигались и поворачивались к нему спиной. Тревожно бормотал и выкрикивал конгипкавун. Трохину показалось, что старик в рысьем авуми не выдержал и заплакал. К нему подошла русская старушка в больших мужских валенках и увела к теплу костра.

— Любуется Бакадей? — услышал Трохин.

Он обернулся и увидел зоотехника Аракчино с его японской манерой раскланиваться и расточать улыбки.

— Вы, конечно, знаете историю Бакади? — спросил Аракчино.

— Нет, к сожалению...

— Но-о! — изумился Аракчино. — Это же интересно! Нгелум! Для вас с вашей профессией это даже необходимо знать — про нгелум. Кстати, вы так и не нашли виновников случая на речке Олдомокит?

Аракчино имел в виду стельную лосиху, которая удушилась, попав в петлю из стального троса от трактора. Стоял даркин — месяц наста, днем припекало, и тушу лосихи постепенно раздуло. Трохин сделал вывод: хозяин удавки был сытым раз не пришел вовремя взять мясо лосихи. Это обстоятельство особенно разозлило Трохина. Он решил найти пакостника, подвести, так сказать, под букву закона. Удавку из тракторного троса сделал кто-то из приезжих — свои того не сделают. Кое-что мог бы сказать охотник Трофим Чегодеев, живший поблизости, но Чегодеев отводил глаза, хмурился и сердито сплевывал табачную горечь нюкэмэ — трубки. Трохин ничего тогда не добился — ни от Чегодеева, ни от других.

Аракчино взял Трохина под руку и повел к себе в палатку — маленькую, но очень теплую и опрятную. Открыл бутылку вина — ни спирта, ни водки Аракчино не выносил.

— Хочешь руководить народом — знай его древние обычаи, — с необидным оттенком назидательности сказал Аракчино. — Иначе ты — обглоданная, бесполезная кость, негодная даже собакам. Так вот, значит, Бакадя...

Покачиваясь, подражая сказителям манерой речи, Аракчино повел рассказ. Сын эвенкийки и нганасана, он умел это делать. За скрытым пологом палатки рокотал и пощелкивал зубной барабан.

Озеро Гиргилан было. Горячее озеро. Зимой облако тумана поднималось над озером. Лес на берегах был выбит из серебра — сверкал, стоял весь белый, от корней до самой верхушки. Колокол ударял в глубине белого облака: «гон-гон, гонк». За то и называли озеро «Гиргилан» — колокол. Кричали в тумане лебеди. Пара лебедей оставалась на озере на всю зиму. Белый крылатый бог, сэвэк, выплывал из тумана — такое редко увидишь.

— Хотя что это я! — вдруг вернулся к действительности Аракчино. — Вы же знаете это озеро — оно и сейчас на месте. Если проехать Олдомоки и еще две пади — из-под камней бьет горячий источник.

— Ну, Иван Аракчинович! Кто же не знает Горячее озеро? Охотничья баня там. А лебедей нет.

— Были лебеди! — возразил Аракчино. — Но я сказал: боги, сэвэки? Мы-то чуть что, сэвэки — темнота, невежество, глупость! Но я не думаю, чтобы наши предки круглыми дураками были. Они умели замечать в природе все красивое, грозное или торжественное. И это красивое ставили наравне с божеством. Разве плохо? По-другому они не умели.

Вот и лебеди (по-эвенкийски — гаг) на озере Гиргилан. Священная птица падала из облака на гладь озера. Две птицы! Охотники приходили. Зимний воздух звенел: «гон-гон, гонк!» Далеко слышно. Везде — снег, все бело, деревья блестят. И две белые птицы — шеи изогнутые, длинные. Гордо! Охотники приходят, смотрят на это чудо. Говорят:

— Сэвэк? Души людей?

Зима, и вот — гаг, лебеди! Не верят своим глазам. Горячий пар тихо шипит в камнях. Рыбы плавают — вода совсем чистая. На камнях — зеленый и синий мох, остальное все кругом белое! Даже немного страшно от такой красоты: будто на облаках сидят — те, кто смотрит. И дым белый несет, как во сне!

А летом простое все. Косяки уток садятся, гуси. И лебеди плавают, как обычные птицы. Много лебедей. Но все птицы улетают, а эти два гаг остаются. И высиживают птенцов. Птенцы растут, осенью их в теплые края тянет — зимы боятся! Поднимаются с косяками искать жаркое солнце, а те два лебедя опять остаются. Зимуют тут. Смелые!

Люди радуются. Нарты на льду звенят — эвенки издалека гонят упряжки оленей. Едут смотреть озеро Гиргилан.

— Это же для них телевизор был, кино и все что хочешь! — не выдержал и прервал свой сказ Аракчино. — Через картины Горячего озера и лебединый крик (а зимой все это принимало особый смысл!) они, быть может, постигали значение жизни, все величие и необозримость вселенной! Ведь так?

Трохин согласно кивнул. В очках с золотыми дужками, с коротко стриженной седой головой и добрыми жестами Аракчино был похож на человека из города.

— Озеро Гиргилан входило в кочевья людей рода Булятыр. Как уберечь длинношеих красавиц птиц? Храбрые птицы: они терпели холода. Но булятырцы боялись: гаг могут убить!

Приезжие издалека спрашивали:

— Это сэвэк?

Люди рода Булятыр торопливо соглашались:

— Сэвэк, сэвэк! Духи предков!

А сэвэка кто может убить? Рука не поднимется. Дурак, и тот не убьет! Белое дымное облако выросло над озером. Эривун — труба звенела сквозь облако. Люди радовались, бормотали молитвы, просили себе удач. Шаман приезжал камлать.

И все-таки лебедей убили. Убил их Бакадя — человек из рода Булятыр. Год плохой был. Грибы-ягоды не родились. Деревья стояли без шишек. Откуда тогда белка будет? Волки разогнали оленей.

Парень Бакадя пустой шел с охоты. Мимо озера Гиргилан шел, гаг увидел. Голод, поди, сделал Бакадю злым. Он зарядил ружье и убил лебедя. Другой лебедь кричал от страха и жалости. Может, ему за людей страшно стало: какие такие люди бывают?! И подругу свою жалел гаг. Долго летал и кричал над озером. Сердце разорвалось от крика: упал гаг на камни. Разбился... Люди рода Булятыр уши зажимали руками. Тоскливо и страшно кричала эривун — труба над озером Гиргилан. Жить неохота стало.

И все узнали: Бакадя убил лебедей!

Он спрятался. Мужчины ждали его на тропе с ружьями. Три дня ждали. Потом сказали старейшины рода Булятыр: убивать Бакадю не надо. Все они

накладывают на Бакадю нгелум, проклиная его. Он изгоняется из рода Булятыр, ни один другой род не примет его к себе. Люди рода Булятыр сворачивают свои чумы, уходят с озера Гиргилан. Далеко уходят. Олени вязнут в сугробах по самую грудь.

От притоков Витима до ледяных полуночных стран быстрее оленя скакала весть: Бакадя, человек из рода Булятыр, убил сэвэка! Большой нгелум принял силу, нгелум идет! Один, точно зверь, прятался Бакадя в тайге. Долго скитался: двадцать зим, а может, все сорок. Кто считал? Давно это было... Да.

— Все, сказке конец! — сверкнул ровными рядками зубов Аракчино и принялся наливать чай в кружки из пластика. — Рассказал, как умею, не осудите!

Трохин глядел сквозь открытый вход меховой палатки: какая же это сказка? Старый, сгорбленный Бакадя сидел возле костра, и русская старуха в больших валенках подавала ему алюминиевую чашку с бульоном. Соплеменники отворачивались от него все как один — такова сила древних традиций. Рокотал — цокал зубной барабан. Молодые парни в куртках из яркой цветной синтетики включили транзисторы, но старики попросили их приглушить приемники.

— Как же Бакадя очутился здесь? — спросил Трохин.

— Чай пейте, — сделал красивый жест ладонями Аракчино, — пейте чай, пожалуйста!

Все в нем вызывало симпатию — от блестящих седых волос до этого жеста. Трохин вспомнил: учился зоотехник в большом городе на Неве, в Институте народов Севера. Аракчино распаковал пачку печенья и только потом ответил на вопрос Трохина:

— Как тут появился Бакадя? Да очень просто: старик совсем стал, охотиться трудно. Старческие болезни одолевают — ближе к поселку надо, к врачам. Да и знал он давно: другие времена — другие порядки. Нет нгелума. Закон другой: убил запретную птицу — заплати деньги. Сколько за лебедя?

Трохин назвал цифру и от неловкости расплескал чай. Аракчино блеснул оправой очков, засмеялся:

— Четыре бутылки спирту, если считать стоимость закуски к ним! Такие деньги всякий найдет. Хороший закон, добрый...

— Ну, может быть, не совсем, — смутился Трохин, —

Штраф не очень-то останавливает людей. Трофим Чегодеев, говорят, «левых» соболей сбывает летчикам. В гольцах Иттыра в снежных баранов стреляют. Ваши эвенки-оленоводы! А ведь когда-то снежный баран, ар-гали, тоже сэвэком считался? Очевидно, кроме штрафа, нужны традиции, что-то такое...

— Да-а, да! — заблестел очками и своей чистой, располагающей улыбкой Аракчино. — Но традиции в народе создаются веками. Как говорится в пословице: «Чтобы срубить дерево — много времени не надо, чтобы его вырастить — надо сто лет!»

После учебы Трохин работал на Севере всего второй год. Он был почти вдвое моложе зоотехника. Ему нравилось, что Аракчино говорит с ним как с равным.

Они допили чай и вышли из палатки. Подтаявший снег сверху переливал сверкающей рябью, олени втягивали расширенными ноздрями запах близкой весны. Шум праздника наполнял долину. Между деревьями покачивался одинокий старик, уходящий в сторону поселка. По косматой авуми из меха рыси Трохин узнал Бакадю. Было жутковато смотреть на эту одинокую фигуру. На сверкающей белизне снега четко чернели корявые черточки редких лиственниц. Черточки эти создавали определенный ритм, чудовищно точно совпадающий с ритмом звуков конгипкавуна.

«Дэ-ге, дэ-ге, дэ-ге», — голосом древней птицы бормотал зубной барабан.

На старом инструменте, похожем на большой ключ от амбара, играл оленевод из стойбища Якоткар. Только он один имел такой инструмент. Пастухи и охотники завелись: звуки старинной мелодии напомнили веселые праздники детства.

— Хулге! Аки! Омоко! — кричал и прыгал в азарте пляски с речки Олдомокит Трофим Чегодеев.

— Нде-ге, нде-ге, нде-ге, — вторил ему конгипкавун, пересчитывая по тундре черные штрихи лиственниц.

Лукавый проглядывал сквозь длинные прорези глаз Чегодеева. Плясун энергично бухал подошвами унтов в утоптаный снег, увлекая за собой других. Мелькал водоворот рук и ног. Лицо оленевода из Якоткара блесело от пота — он играл без перерыва. Усталые танцоры валились в сугроб. Высоко в небе, оглядывая редколесье тундры и горы, парил игэчен, сокол-чеглок.

## Быстрые струи Токко

Проводник якут Кытаат, геолог Шамарин и давний знакомый Шамарина Анатолий Бродский сидели в устье реки Токко на рюкзаках в ожидании вертолета. Посадочная площадка от поселка была далековато, три дня подряд они уходили на эту площадку и тщетно смотрели в пронзительное северное небо. Там ничего не было видно, кроме ворон и бородачей — медлительных, ленивых орлов.

На четвертый день Шамарин с трудом достукался по рации до центральной базы и получил ответ: вертолета не будет — обещанная машина мобилизована лесной охраной на борьбу с лесными пожарами.

— Лодку надо, — выключая транзистор, сказал Кытаат, — плыть надо, ая!

Все эти дни Шамарин валялся на солнце, загорал или вырезал зверюшек из корней, найденных на берегу Токко. Кытаат наслаждался пением радио или варил на костре чай, давая понять всем своим видом, что ожидание — тоже работа. Твердостью и цветом лицо Кытаата было похоже на потрескавшийся корень ольхи, который вертел в руках Шамарин.

Больше всех нервничал Бродский — он был в отпуске. В общем-то, отпуск здесь ни при чем, просто Бродский органически не выносил безделья. Он и отдыхал-то не так, как все нормальные люди. Ехал куда-нибудь в тундру, леса Карелии или на Шантарские острова, нанимался там простым рабочим — грузчиком или рыбаком например. В горах Восточного Саяна Бродский однажды пас гурт скота — целый месяц ездил на лошади, накинув на плечи грубый брезентовый плащ пастуха.

В этот свой отпуск Бродский нанялся разнорабочим в партию Шамарина, которая стояла на притоке Лены, в вершине реки Токко. В Якутии Бродский никогда не был. Используя давние приятельские отношения (вместе заканчивали Московский университет!), Анатолий Бродский написал Шамарину: так, мол, и так, приеду работать — на время отпуска.

Другой, возможно, принял бы письмо Бродского за шутку: к тому времени, несмотря на молодость, Бродский был известным конструктором — портреты его, по крайней мере, печатались в столичных журналах. И даже он получил какую-то премию на большом конкурсе. В деньгах Бродский вряд ли нуждался.

Но еще в университете, зная причуды своего друга, Шамарин прозвал Бродского «индивидумом». Индивидум — надолго закрепилась такая кличка за Бродским. Поэтому Шамарин написал в ответном письме: «Лишняя лопата найдется, жду. Будешь рыть шурфы».

Они списались, и в назначенный срок Шамарин спустился в низовье Токко — пополнить запас продуктов и забрать Бродского.

— Плыть придется, — повторил Кытаат.

— А на чем? Ты же отдал свою лодку! — незлобиво возразил Шамарин.

— Начальник сам сказал: вертолет обязательно будет. Лодку отдал племяннику — рыбачить пошел. Но я найду другой лодка-то.

Примерно через час они уложили груз в моторку легким алюминиевым корпусом. За руль сел сам Кытаат. Рядом с ним на корме пристроился мальчик лет двенадцати — сын Кытаата.

Прежде чем большой подвесной мотор взбурил воду и вынес лодку на стремнины Токко, с берега прокричал старик, обутый в локоми (летние унты из ровдуги):

— Лодку быстро пригоните обратно. Через три дня мне в район надо плыть — шкуры буду сдавать.

— Не думай, Луглукэ, ты меня знаешь! — прокричал в ответ Кытаат. — Слово — камень! Лодку ты получишь вовремя, ая!

Бродский спросил, что означает слово «луглукэ». Оказалось, в переводе с эвенкийского — «старое дерево». В этой местности эвенкийский язык часто мешался с якутским. «Кытаат» по-якутски означает «твердый», «желез-

ный». Как и Луглукэ, это было прозвище. Настоящее имя Кытаата звучало более прозаически: Филипп Иванович Федоров. Мальчик, сын Кытаата, тоже имел прозвище: Пею — окунь.

Тяжелые встречные струи Токко ударили в нос лодки, и она как бы приподнялась на невидимых крыльях. От взбуровленной воды пахло снегами подоблачных горных высот. Справа желтыми степами обрывались скалы. Противоположный берег украшали дсревья и валуны, отшлифованные весенними льдами до блеска.

За валунами, в заводях, кормились дикие утки. Напуганные гулом мотора, они поднимали веера брызг. Летящие утки напоминали чуть утолщенные стрелы. Пустое северное небо, рев встречной воды и ветер, панибратски треплющий волосы, настроили Бродского на поэтический лад.

— Утка быстрая в небе лиловом,— вспомнил он чьи-то стихи.

На яристых перекатах вода бугрилась от обилия донных камней — лодку бросало то на гребень, то в яму. Шамарин тоже поддался страсти движения и опасной игре с бурным течением. Серо-зеленые глаза его напряглись, а крылья ноздрей раздулись, как у породистого коня. Между стволами листовенниц мелькнул зверь на высоких тонких ногах. Шамарин вытянул из чехла карабин. С видом хозяина здешних мест он пригласил глазами столичного гостя: смотри, мол, что будет — ты еще не знаешь якутской тайги!

Лодка выскочила на тихий зеркальный плес, заскользила по глади с лихостью скутера. От воды опять метнулся большой серый зверь, замер на взлобке. Бродский увидел: нескладная морда зверя похожа на корзину для фруктов. Шамарин, сидя на мешке с надувной резиновой лодкой, вскинул карабин.

— Байде! Постой! — сквозь гул мотора выкрикнул Кытаат и рванул руль, отчего моторку бросило в сторону.

Шамарин не успел выстрелить.

— Сохатый, самка! — сказал Кытаат. — Детеныш будет, нельзя убивать, ая!

Несколько пристыженный, Шамарин опустил ружье на дно лодки. Бродский и проводник переглянулись,

улыбнувшись друг другу одними глазами: правильно, дескать, нечего тут бахвалиться!

Кытаат передал руль в руки Пею, а сам стал набивать табаком трубку. Лицом, фигурой и даже жестами маленький Пею был похож на отца.

Шамарин махнул рукой в сторону скалистого берега. Кытаат охотно и даже как-то радостно гугукнул и взял из рук Пею руль. Лодка с выключенным мотором осторожно уткнулась в камни берега. И сразу слух без всякой опоры напрягся и повис в тишине. Такую тишину — звенящую, глубокую, почти абсолютную — принято называть первозданной. На сей раз слово «первозданный» приобретало зрительную значимость: тут и там скалы были расписаны руками первобытных людей.

За выступы камня, покачивая дымок хвои, ухватисто держались деревья. Их отмершие собратья, обрушившись вниз, как бы подпирали собой стены скал. Под навесами и в неглубоких нишах темнели рисунки: пляшущие человечки, олени, охотники с луками, подобие птиц и рыб.

Рисунки древних всегда потрясали Бродского: при всей своей простоте и детской наивности (а может, именно поэтому?) они несли с собой колоссальный, как ему казалось, заряд информации, эмоции, смысла. Путаясь рогами, дикие олени бегут — целое стадо! За ними человечки бегут, как-то крадучись, на цыпочках, почти приплясывая. Неуловимой черточкой передана радость жизни в этой картине. А вот рогатый человек с несоразмерно большими ногами воздел к небу обе руки — голос тревоги, предчувствие опасности пронизывает пезримой дрожью шероховатый камень: люди, будьте бдительны — грядут худшие времена!

— Суруктаах Хайа, — выдохнул Кытаат.

— Писаницы, — перевел Шамарин, — слово «хайа» придает выражению оттенок легкого испуга и удивления. Местные жители боготворят эти скалы.

На самом деле это так и было: Кытаат и Пею смотрели на древние изображения округлившимися глазами, будто все это видели первый раз. Бродский вынул из чехла портативную кинокамеру. Кытаат взял из короба щепотку спичек, нашарил в кармане несколько медных монет, мятую ириску, и все это положил на камушек под скалой.

— Привычка, ая! — смущенно сказал Кытаат, боясь, очевидно, чтобы его не приняли за темного человека, который верит в шаманов и духов.

Но Бродский прекрасно понимал его: это была дань уважения к далеким предкам, к их трудной жизни, к их силе и мужеству. Они, те древние люди, были романтики и прекрасные ходоки. Точно такие же рисунки Бродский однажды видел на берегу Белого моря и даже в тундре, на голых камнях Таймыра. Что, казалось бы, делать на Крайнем Севере человеку, в руках которого единственное орудие — некое подобие зубила из куска кремния? Ведь в те времена, надо полагать, и на юге, в жарких краях, земли были гостеприимны и малообитаемы.

Бродский увидел: память давних-предавних предков чтит не один Кытаат. Под камнями лежали позеленевшие гильзы от старинной берданы и более современные патроны от «малопульки», полуистлевшие рубли довоенного выпуска и тяжелые медные монеты царской чеканки.

Шамарин нашел даже несколько кремниевых накопечников стрел и странный граненый камень, похожий на карандаш. Бродский подержал их на ладони. Плотные черные брови его сошлись к переносице, лицо сделалось суровым и четким.

Кытаат набрал дров и развел огонек на сыроватом песке. Пока в котле закипала вода, Пею выдернул из воды несколько рыб с большими плавниками на спинах. Красно-сизые плавники эти напоминали пестрый праздничный парус.

Пею вертелся на берегу, как выюн. Сквозь челку гляцевитых волос, упавших на лоб, поблескивали быстрые, внимательные глаза. «Огонь был в его глазах», — писали о таких мальчиках в древних книгах придворные летописцы.

— Нынче-то сынок на охоту ходил во время зимних каникул, — сказал Кытаат, уловив любование Бродского Пею, — двух соболей добыл, ая!

Якуты, как и эвенки, сдержанны на выражение чувств к домочадцам. Даже самая скромная похвала расценивается почти как бахвальство. Поэтому Кытаат вынул изо рта трубку и в сердцах сплюнул, укоряя себя за излишнюю болтливость.

По небу проволокло вязкий громыхающий звук — мелькнул едва различимым крестиком реактивный лайнер. Гул его никак не вязался ни с блеском вод Токко, ни с темным лицом Кытаата, ни с таинством камней Суруктаах Хайаи. Бродский проводил самолет глазами с некоторым недоумением.

После обеда плыть стало труднее. Пею накормил до отвала всех троих вкусной рыбой. Клонило ко сну, а Токко за поворотом резко сменил свой облик: вода, кидая брызги и пенясь, с клекотом летела поверх валунов! Точно табуны белогривых коней бились среди стремнин Токко. Кытаат, то сбавляя, то прибавляя скорость, лавировал между ними.

— Обратно плыть вдвое труднее и вдвое опасней! — прокричал Шамарин.

И, как бы подтверждая эти слова, моторка содрогнулась — торкнуло вскользь о подводный камень. Ахнули брызги, окатив холодом лица сидящих. Кытаат окаменел лицом и телом, сжимая руль лодки. Бродский старался не глядеть на Токко, струи которого гремели и крутились, как жернова.

Ночной костер в тихой пазухе сопки показался уютным прибежищем. От запаха горящей бересты и осиновых веток сладковато першило в горле. Махая полами пламени, огонь сгонял с лица Кытаата тень усталости.

— Между прочим, — сказал Шамарин, строгая ножиком, — пережат, который мы одолели, называется Костолом.

На закате солнца Пею опять успел надергать рыбы и даже принес тайменя весом в полпуда. Шамарину он нашел причудливой формы корень. Бродскому, который не захотел тесниться в палатке и бросил свой спальник возле кустов, Пею наломал под бок смолистых пихтовых лап.

— Теплые, как оленья шерсты! — пояснил Пею.

Костер кидал на тугое лицо Пею мягкие отблески. Мальчик немного боялся Бродского, робел перед ним, но он был любопытен, как все мальчишки на земле. Днем он все постреливал глазами на кинокамеру, теперь осторожно притронулся рукой к футляру, спросил:

— Кино будет? Настоящее кино?

— Почти настоящее,— улыбнулся Бродский.— Хочешь, тебя научу снимать?

— Опа! — обрадовался Пею.

Бродскому все больше и больше нравился этот востроглазый и услужливый якутенок. Услужливость Пею вовсе не была сродни той услужливости, за которой таится корысть или желание подольстить. Бродский надеялся, что они с Пею крепко подружатся. Само собой разумеется, что Пею останется в геологическом лагере вместе с отцом. Просьба старика Луглукэ — вернуть скорее лодку — забылась. Да и в уме совершенно не укладывалось, что отец может толкнуть мальчика на единоборство с холодными стремнинами Токко в гремящей пустой жестянке.

Но утром следующего дня так и случилось. Они поужинали в лагере за настоящим столом, выпались в тепле палаток, где всю ночь бормотали маленькие железные печки, а на рассвете Кытаат посадил двенадцатилетнего сына в лодку и помог ему завести мотор. Пею сделал вдоль берега полукруг, течение рывком подхватило лодку, и она, сильно задирая вверх опустевший корпус, скрылась за космами ивняка.

Когда Шамарин и Бродский вышли к реке помыться, на берегу не было ни Пею, ни лодки. Сидел на бревне Кытаат и сильнее, чем обычно, коптил трубкой.

— Пею еще спит? — спросил Бродский.

— Уплыл,— сказал Кытаат,— лодку погнало Пею. Луглукэ ждет лодку.

— Один поплыл?!

— Ну.

Равнодушное это «ну» сразило и Бродского и Шамарина. Бродский даже уронил в воду мыло.

— Ну, Федоров, ну, Федоров! — раздул ноздри Шамарин.— Если мальчик утонет, я тебя под суд отдам!

— Не бойся,— миролюбиво сказал Кытаат,— Луглукэ лодку надо быстрее, шкуры сдавать поедет.

— Да ты, дурья твоя голова,— не вытерпел Шамарин и постучал себе пальцем по лбу,— разве не видел, какие там камни? Мальчик дороже лодки и всех шкур твоего Луглукэ. Ведь это твой единственный сын!

У Кытаата действительно было пять дочерей, а Пею — единственный сын.

— Хороший мальчик дороже, плохой не дороже! — упрямо и непонятно сказал проводник.

Бродский вначале отнес эти слова якута на счет скудоумия, но потом ему показалось, что в простом сочетании слов спрятан глубокий житейский смысл. Чудился в нем гул далеких эпох, и странным образом эти слова Кытаат перекликались с наивными, но загадочно-значительными рисунками Суруктаах Хайаи.

Бродский в кирзовых сапогах и брезентовых рукавицах вместе со всеми рабочими рыл траншеи, носил на спине тяжелые ящики с инструментами и рюкзаки с образцами пород, пресекая всякие поблажки со стороны Шамарина. Он работал и все думал над загадкой слов якута. Кытаат ходил молчаливый и мрачный, Бродский не решался подойти к нему с разговором.

И только на третий день, когда по рации сообщили, что Пею — живой и невредимый — приплыл в поселок, Кытаат объяснил Бродскому:

— Начальник-то наш кричал: утонет, утонет! Неловкий мальчик утонет — ему же, поди, лучше будет. Неловкий, боязливый мальчик плохим вырастет — жить человеку плохо, зачем жить? Ловкий и смелый мальчик все пройдет — красиво жить будет! Такого мальчика шибко надо, ая! Плохого не надо — куда?

— Да это чистый фрейдизм! — изумился Шамарин.

Кытаат, Шамарин и Бродский сидели на берегу вечернего Токко, когда возник этот спор. Свиваясь и перебирая красноватый отсвет заката, неслись стеклистые струи Токко. Внизу глухо роптал пережат.

— А я думаю, что тут что-то есть! — сказал Бродский.

— И думать нечего: фрейдизм!

— Да при чем тут фрейдизм-то? — соскочил Бродский. — При чем?

Бродский сунул руки в карманы брюк и забегал по берегу. За эти дни лицо его заветрило и обросло рыжеватой щетиной (отращивал бороду!), на ботинках и брюках насохли комочки глины, и теперь он ничем не отличался от работяг.

— Скажи, Кытаат, ты знаешь Фрейда?

Кытаат, усмехаясь, молча дымил трубкой, поглядывал с хитрецей. Пропуская мимо ушей непонятные заковыристые слова, якут, похоже, прекрасно улавливал смысл спора.

— Никогда не соглашусь,— упрямо мотнул головой Шамарин.— Дядя у меня охотник был, так щенков выбирал: сажал их, еще слепых совсем, на высокий чурбак, и они оттуда срывались один за другим. Оставался на чурбаке один какой-нибудь. Этого архаровца дядя оставлял себе, остальных — головой в омут.

— Да зачем хвататься за крайность? Но — ты послушай! — я у себя на работе вижу... Ты сам как-то написал мне в письме: ваши сельхозмашины-де не выдерживают никакой критики, они недалеко ушли от телеги и самопрялки. Согласен! Но что я один-то сделаю? У меня же в отделе атрофики сидят! Марья Федосеевна играет роль мамы-чаевницы, целый день на плитке чаи заваривает, потчует чаями весь отдел и два соседних. Голиков, молодой и довольно способный инженер, возмечтал о лаврах великого математика — от сельского хозяйства, видите ли, его тошнит! Степаненко помешался на диссертации. Лаборантка Татьяничева половину рабочего дня листает театральные журналы — спит и видит себя артисткой, хотя, как говорится, ей «медведь на ухо наступил». С кем и как мне работать?!

— А ты уволь их, набери таких, чтоб умели и хотели работать,— не выдержал Шамарин.— Есть ведь немало людей стоящих!

— Вот уж поистине «все возвращается на круги своя»! — хлопнул себя по бедрам Бродский и даже присел от хохота.— А ты забыл, что есть профсоюз и плюс еще двести разных параграфов, не считая пресловутых протекций? То-то!

Бродский поднял полосатый цветастый камень и подбросил его на ладони:

— Таким, как Марья Федосеевна или Голиков, я бы платил что-то вроде пенсии, как инвалидам: пусть они сидят дома и не мешают работать тем, кто хочет и умеет работать по-настоящему! Это обойдется дешевле для государства.

Бродский подбросил камень, поймал и крепко сжал его в кулаке.

Шамарин сердито швырнул в кусты корень, который строгал во время всего спора, встал и быстро зашагал в сторону палаток — обиделся.

— Индивидум и есть! — бросил на ходу Бродскому.

— К утру отгадет, ая! — сказал Кытаат и выбил о носок сапога догоревшую трубку.

Он внимательно посмотрел на Бродского:

— Ты большой человек, однако-то, пошто в лес ездить работать в отпуск? Курорт надо ехать!

— Не люблю курортов. Я выдумываю машины, которые помогают выращивать и убирать хлеб. Я хочу видеть людей, которые едят этот хлеб, — не во время безделья, а во время работы. И землю люблю смотреть — разные новые места.

— Ая! — уважительно воскликнул якут.

— Вот буду зимой вспоминать тебя и Пею — и, глядишь, выдумаю что-нибудь хорошее.

— Но-о! — еще раз выразил свое удивление Кытаат.

Вечер незаметно перешел в зыбкую северную ночь. Отрывисто и гортанно вскрикивала ночная птица, мигали, перезваниваясь, яркие зеленые звезды, и, поблескивая, наполняя воздух запахом талых снегов, неслись струи Токко. Бродскому показалось: не река это, а сама жизнь — суровая, беспощадная и прекрасная — несет в базальтовых берегах свои стремнины.

Солнечный свет дробился в зернах снега, мешал смотреть. Петруха нашарил в кармане телогрейки очки с зелеными стеклами. На людях Петруха стыдился этих очков, на самом же деле темные очки придавали его фигуре могутный вид. Давно не стриженные волосы жесткой гривой спадали на воротник телогрейки, борода вилась густыми колечками, и в ней блестели кусочки льда. Петруха слегка горбился от избытка сил. За плечами висел рюкзак и легкое двуствольное ружьецо. Было приятно ощущать спиной мягкость рюкзака, в котором лежали беличьи и собольи шкурки.

Заиндевелые распадки хребта и каменная голова Шоно остались далеко позади, Петруха выходил к обжитым местам. Маячили сопки, наголо обритые моторными пилами. Лесовозные дороги уползали влево и вправо. Горбилась сопочка с остатками одиноких лесин, и за ней должно бы стоять зимовье, почерневшее от мазута.

Но зимовья этого нет, Петруха издали увидел белую прогалызину с редкими черными зрачками углей. Там уже вертелись обе его собаки, с удивлением обнюхивая место пожарища. У пса Тобо нервно дергался хвост — он, очевидно, уловил запах Гохи. Петруха тоже дрогнул нутром и машинально содрал с головы шапку. В таежных урочищах они провели с Гохой не одну зиму, а теперь, похоже, нет больше Митрофанова Гохи! Старик Налабордин, проезжая на лошади в Горбатый ключ, сказывал: видел свежее пожарище, а перед этим шибко пробежала машина, и за стеклом мелькнуло почерневшее, неживое лицо Гохи. Старик Налабордин так и сказал:

сгорел Митрофанов Гоха! Большая беда вышла на ключе Утлом...

Петруха развязал веревочку рюкзака, вынул термос, кусок вареной изюбятины и сел на пень. Холодная изюбятина казалась невкусной, пресной, но Петруха отрезал ножом тонкие полоски мяса и старательно жевал. Получилось — поминки, вроде.

Дорога от Утлого пошла уверенней, тверже. Под натруской пороши угадывался плотный колесный накат. Ногам стало легко и вольно, зато голова потяжелела от дум.

Четыре зимы Петруха ходил соболевать с Гохой Митрофановым, на пятую разлад вышел. Закуролесили оба: свадьба в поселке была, потом братан Петрухи диплом обмывал. И снег упал — нарядилась деревня в белое с искоркой. Большой укор был в ее праздничной белизне. Петруха даже как бы сробел немного: начало зимы он встречал всегда далеко от дома, в хребтах, давно не видел поселка в такой неожиданной чистоте и строгости.

Гоха Митрофанов пришел с бутылкой — веселый, шапка набок. У Петрухи не хватило духу заворотить Гоху домой. Посидели немного, и тут Петруха сказал строго и неуступчиво:

— Все, лады! Шпарь к своей бабе: пусть припасы пакует. Завтра — в тайгу, с утра выходим, поране.

— А завтра-то что у нас? Забыл? Понедельник завтра!

— К черту твой понедельник! Я сказал: завтра. Снег вон выпал.

— Не! — уперся Гоха. — Никак не согласен. Во вторник стронусь.

С тем и домой потопал. Петруха чертыхнулся напарнику вслед, торопливо принялся укладывать в торока еду, порох, запасную одежду. Он знал: завтра не выйдут — вся неделя прахом пойдет.

Петруха договорился насчет лошадей, подрядил выгонщика, убрал во дворе — на радость теще. Она, теща, отвыкла видеть Петруху за домашней работой. Зимой — белковье, летом — долдонят с Гохой, дым столбом!

Нарядной была деревня — вся в белом. Щедрости природы удивлялся Петруха, а еще больше — справедливости: всем всего поровну! И на железной крыше дома главбуха праздничное сияние, и на корявой кров-

ле избы одинокой бабки Шершанихи точно такая же белизна.

Под вечер Петруха пошел домой к Гохе — предупредить, что утром они выходят.

— Эк, заладил! Ты пошто такой-то? — опять заерепенился Гоха. — Ну, не пойду завтра! Ну?! Понедельник — день бездельник. Никто никуда не ходит в понедельник.

— Годить некуда, — упрямо сказал Петруха, — вот ты снова хорош, а завтра снова опохмелка — сказка про мочало, без конца и начала. Так и сезон пройдет. Люди-то уже давно белкуют.

Гоха перевел беседу на скандальный тон, пугая жену и детей. Пришлось выйти во двор.

— Ну, вот что, — сказал Петруха, — или ты идешь, или ты мне не товарищ. Один пойду!

— Эк, испужал меня! Да я на участок устроюсь, лес валить. Видел я тебя в гробу, в белых тапочках!

Гоха даже драться полез, и тут Петруха сунул ему слегка под дых. Куда бы соваться сухожилому, мухрому Гохе — против него Петруха кряж, хоть и тоже невысок ростом! Но Гоха с детства такой: в пятом классе запустил в учительницу склянкой с чернилами.

И вот теперь, похоже, нет Гохи. Был — и нету.

А уже поселок увиделся с невысокого взлобка, поросшего светлым березняком. Как и в первый тот снегопад, поселок вновь показался ладным. Черными линиями жердей четко расчерчены огороды, крыши белеют под шапками снега. И главное — бани! Дымили по огородам бани — суббота, видать, была.

Петруха прибавил шаг — снег скрипел, чвиркал. Было приятно идти, смотреть, думать. Петруха старался доброе думать о Гохе — покойник, может быть, Гоха-то! Нельзя худое думать об умерших — традиция такая вроде.

Но хорошее про Гоху не особенно вспоминалось: забулдыжка серенький! Петруха и брал-то его в напарники потому, что брать было некого. Перевелись охотники. Стояла Каменушка — охотничья деревенька, а лет семь назад нагрянули лесорубы: стук-бряк, грохот, моторы, бензиновая вонь. Зверь весь за хребты умелся. Белка-соболь далеко, деревья близко: знай, режь, вали листовянки да сосны! Деньги исправно платят, И пошли ва-

лить. А куда денешься? Только Петруха никак не мог себя переделать. Не мог он ополчиться на лес-тайгу, которая с малых лет кормила его, поила, оберегала. Звук моторной пилы уши резал. И урканья лесовозов, и стрекота трелевочных тракторов Петруха не одобрял. «Диким мохом оброс ты, замшел совсем!» — говорил ему младший брат, который выучился на тракториста. Он вроде бездельником оборачивался для них, для родни: коро же это они забыли, что охота потяжелее всякой другой работы. «Поджилки слабы!» Они его на одну доску с Гохой ставили, хотя Гоху он брал в тайгу вместо кашевара вроде. Там, где Гоха одного соболя с грехом пополам добудет, Петруха пять возьмет.

Этот сезон неплохим выдался. В рюкзаке за спиной добрая связка соболишек, да белок три сотни будет. Но потешно одному в тайге жить! Все время внутрь себя смотришь, будто кино какое крутится там про жизнь человеческую. И много забавного открывается — чудеса вокруг колес! Вот хотя бы соболей взять: ведь он, Петруха-то, вроде как для буржуев старается. Уйдут соболишки на международный аукцион — негритянский король какой-нибудь будет преть в Петрухиных соболях или маруха миллионщика, тонконогая фря, сошьет себе из них телогрейку.

На лед Каменухи от кустов тальника падали поперечные синие полосы. Коровы топтались у проруби. Слышно было, как в поселке гомонит ребятня и пустые лесовозы постукивают цепями и стойками на ухабах. Петруха снял очки с зелеными стеклами и спрятал за пазуху.

Первой он встретил старуху Шершаниху с ведрами на коромысле, потом соседа — бригадира вальщиков, пересмешника:

— А-а, гулеван-атаман явился. Робинзон Крузейро!

За этим крылось: вот, дескать, пока ты гулял по хребтам, справлял свое удовольствие, мы тут работали!

Но Петруха на это не оскорбился — наоборот, другое успел уловить: большой беды в Каменке не случилось, легка речь бригадира и глаза беззаботны. Очевидно, жив Гоха-то, обормот его разорви! Спрашивать бригадира ни о чем не стал, но дома узнал от жены: Гоха Митрофанов действительно жив, но ходит на костылях —

отрезали, говорят, пальцы на обеих ногах, культяпый теперь.

— Допрыгался! — сказала жена. — И за тебя-то тоже сколь передумала: один-одинешенек сидишь в лесу!

— Ну, не один хотя, — усмехнулся Петруха, — с собаками. Две собаки одного человека стоят.

— Не пущу тебя больше охотничать, хватит. Иди лучше лес валить, при доме будь.

— Ну, это как сказать! — возразил Петруха.

Но спорить особо не стал, собрался в баню. Для таежного человека не может быть большей радости, чем баня. Два месяца, считай, не видел Петруха мочалки и хорошего банного веника. Легкий запах угара, горячих камней и копоты воспринялись запахом райских кущ. Петруха плеснул на раскаленные камни из ковшика, распарил веник. Окутанный клубами пара, ухал, стонал, выл от удовольствия. Горячие березовые листья налипали на тело, падали на полоч, в таз с водой.

Жена сготовила ужин, самовар пофыркивал на столе. Отлеживаясь на койке, весь красный, Петруха спросил жену, не послать ли ему за Гохой.

— Успеете заколобродить! — в один голос прикрикнули на него жена и теща. — Отдохни хоть день.

А утром Гоха сам явился. Перекинул через порог костыли с виноватой ухмылкой. Петруха сидел у зеркала — подравнивал бороду. Молчали, не зная, как им теперь говорить.

— Ну, не помог тебе вторник, выходит? — оглядел Петруха друга.

— Так будто, — сказал Гоха, прилаживая к стенке свои костыли. — А тебе не повредил понедельник?

— Погляди сам, — кивнул Петруха на связки белок и соболей, висевших в простенке на гвоздях.

— Эх, диво! Больше, чем на двоих бывало! Черт тебе пособлял или кто?

— Знаю одно словечко! — засмеялся Петруха, польщенный похвалой друга. — Лучше ты расскажи, как горел-то?

— Эх, горел! Гореть-то еще полбеды — замерзнуть страшно! Огонь помиловал, так дед-мороз едва не загнул салаги.

— Пьяный, поди, был, надрюкался?

— Иди ты, знаешь куда? — обиделся Гоха,

Успокоившись, поведал о своей беде. В конце недели лесорубы укочевали на новый участок, угнали всю технику, в зимовье осталась разная мелочь: негодные моторные пилы, запчасти к тракторам, старая спецодежда. Гоха Митрофанов остался на субботу и воскресенье — побродить с ружьишком по сопкам. В понедельник обещали машину за ним прислать.

На месте лесозаготовок остались груды поломанных стволов, сучья, березы, белая кожа которых висела ключьями. На людям, в толчее, все это казалось обыденным — рабочая обстановка, — но в тишине и одиночестве некрасиво обобранный лес обернулся тяжелой тоской: хотелось сесть среди голых, ошипанных сопок и потихоньку завять. Будто война была, и вот он остался, разоренный, на пепелище. Дичи, конечно, вокруг никакой не оказалось, хотя Гоха ушел далеко, в нетронутые, казалось, места.

На другой день он еще дальше ушел, три хребтины перевалил. Но и там ничего не добыл. Вернулся в зимовье злой и голодный. Набил полную печь смолья, согрел остатки старого чая. Жестяная печь накалилась докрасна, местами стенки печи прогорели, и там мельтешили языки пламени. Гоха разболочся до нательного белья, лежал на нарах — думал про свое некудышное житье-бытье: от настоящей охоты, считай, отбил, да и лесоруб из него не получится, болит душа глядеть на искореженный лес!

Скоро Гоха захотел еще чайку, но воды в баке не оказалось. Гоха воткнул ноги в кирзовые сапоги (валенки он поставил сушить), набросил телогрейку и взял ведерко. Ключ Утлый промерз насквозь, пришлось долбить ломиком лед. Против зимовья лед провонял запахом солярки и масла, и Гоха ушел подальше. К распадкам и сопкам пристыла нехорошая тишина. Глаза ночного неба прикрыло мороком, и Гоха боялся, как бы не трахнуть в темноте ломиком по ноге.

Он уже тарахтел ведерком, бросая в него колотый лед, как сильное желтое зарево осветило заиндевелые ветки и лед Утлого. Гоха сначала подумал, что ночь осветило фарами: шофер Митька, поди, подъехал в надежде поесть свежей лесной дичины. Но, взойдя на бугор, Гоха бросил ведро: с треском и гулом горело зимовье, пропитанное машинным маслом и солидолом...

Тут Гоха остановил свой рассказ, вспомнив, очевидно, самое тяжелое. И без того сухожилий, плоский, Гоха совсем исхудал. В темных больших глазах, казалось, до сих пор шевелятся отсветы дурного зарева.

— Никогда не думал, что избуха может так быстро сгореть! — сказал Гоха.

— Ну, а потом-то как ты? — спросил Петруха, понимая, что Гоха остался на сорокаградусном морозе в кирзухах на босу ногу, без спичек.

— Эх, дело-то было! Кинулся я сначала снег пригоршнями кидать, а потом жиманул по дороге в деревню. На помощь звать, спастись ли — сам не знаю.

— «На помощь» — пятьдесят километров! — усмехнулся Петруха.

— Ну, я смекнул это, когда отмахал километров семь! Назад кинулся — возле огня перебуюсь, думал. Прибег — там уже и огня-то нет, зола одна. А ноги-то в сапогах уж как песты в железных ступах стучат.

— Угли все равно были, костер бы накла!л!

— Эх ты, учит! Угли-то, может, были, да силов у меня не было. Упал я на снег — умру, думал. Потом все же выполз на пепелище, теплую золу под себя подгреб. А тут и светать начало. Уж и не помню, как меня утром нашли в золе... Ноги вот укоротили маленько.

Петруха пошарил в кухонном шкафу початую бутылку, звякнул стаканами.

— Осталось вот со вчерашнего, с бани. Ну, под прилавком в селпо, поди, не высохло? — пошутил Петруха.

— А-а! — как-то неопределенно махнул Гоха рукой.

Женщина на стол наладила честь по чести: пусть, дескать, душу отведут мужики — давно не виделись, да и беда у Гохи-то, может, уж и не работник теперь. Таня, жена Петрухи, даже сама в магазин сбегала свежую бутылку взять.

Но, странное дело, мужики будто охладели к вину. Сидят — беседуют! Тане даже подталкивать их пришлось:

— Петруха, Гоха! Но-ка, давайте! Прокиснет!

— Не идет она, — Гоха повертел в руках недопитый стаканчик, — даже вкус не тот вовсе. Доктора, что ли, меня уколами спортили?

Петруха понимал его: он и сам, Петруха-то, задумался нынче о житье-бытье. С ним тоже в тайге было:

в азарте, лежа животом на камнях, жег бересту — выкуривал из тайника соболя, а сзади как из пушки жакнуло по камням. Оказалось, сухостойна рухнула, деревина. В полуметре всего пришлась — Петруху по ногам жигнуло мелкими сучьями. Чуть бы левее, и — все, как юк! Был — и нету...

Внутри у Петрухи как бы пружину какую перевернули. Не испугался, нет — тут другое совсем! «Несделал ни себе, ни людям радости, — мелькнуло, — жить все только собирался». Ждал чего-то: вот она придет, настоящая жизнь, вот придет! И все как-то наперекосяк шло: беспробудные пьяные дни, расштанная калитка, грязный двор, да и в огороде (одной бабе-то как?) все наспех посажено, кулаком. Чемоданная какая-то жизнь: будто вот-вот принесут тебе билет в космос, ждешь его, не дожدهшься.

— Это оно только в песнях все браво да складно! — сказал Петруха никому и всем. — Но шаромыгой не отойдешь, нет! Тут сурьез нужен...

— Сурьез — это точно! — поддержал его Гоха. — Ну а ты возьмешь меня охотничать-то? Ты не думай, костыли я скоро выброшу: у меня только пальцы оттяпали. Хирург говорит: лазать по деревьям не сможешь, конечно, но ты же, говорит, не обезьяна! А бегать по тайге — будь здоров, за милую душу, а?

— Но ты же ведь это... лесоруб теперя! — ухмыльнулся Петруха.

— Эк, заладил! Да меня с души воротит — будто грабитель какой... В тайге, с моторной пилой-то! Завтра же заявление напишу им.

— Так завтра же понедельник!

Они внимательно оглядели друг друга, и обоим вдруг стало по-настоящему весело. С хохотом лупили по плечу один другого — стекла в окошке тренькали.

— Понедельник-вторник, понедельник-вторник! — повторял Гоха.

Их потом так и прозвали: Понедельник-Вторник. Прозвище вроде сдвоенное приклеили. Сдружились они в эту зиму сильнее прежнего — каким-то чутьем поняли, что оба хорошие мужики и им друг без друга никак нельзя. И уже никакие распри и никакие посулы не могли порушить той дружбы. Оба они охотники — вот и все. И будут уходить на пару в хребты каждый сезон,

Не зависимо от того, вторник это или понедельник...

А в тот день они впервые прошли по селу трезвые, негромко спорили. Гоха Митрофанов, слегка посвежевший лицом, удаю тукал резиновыми пятками костылей по укатанной затверделой дороге. За речкой Камену-хой белыми опупками выпирали голые сопки.

— Поди, вовсе не обязательно добывать лес там, где дорогой пушной зверь водится?— сказал Петруха.

— Еще бы обязательно!— понимающе кивнул ему Гоха.

Ребятишки обламывали с крыш блестящие ледяные сосульки, на буграх едва заметно дымились проталины. В невыносимой синеве неба казалось, мелькают золотые спицы — не зима ли с летом встречались там? Конь пронесся, запряженный в легкие сани.

## Охота на умника

Сверкание гольцов, запах снега ободрили людей и оленей. Замученные гнусом во время тяжелого перехода, олени с хорканьем бросились к скалистым гольцам. Над Куваркой, которая уходила далеко вниз мятой лентой фольги, показалась крыша избушки. При виде кособокого бревенчатого жилища (не палатка все же!) глухонемой русский мужик Федор радостно загукал, а Улькан, самый молодой из троих, перестал бормотать свое «чертова работа!».

Один только Ченга закаменел лицом в предчувствии беды. Почему крыша избушки сворочена набок, а дверь болтается на одной петле? Без всякого сомнения, избушка разграблена! Весной, когда из толстого брюха вертолета на пол избушки перекочевали консервы и мешки с мукой, Ченга сам подпер дверь бревешком. Теперь она была распахнута настежь, и зев ее недобро чернел.

Улькан и Федор коротко сопоставили выражение лица бригадира с видом избушки, и оба нахохлились.

Ченга бросил повод оленя и с не свойственной старику быстротой оказался в проеме двери, надеясь на чудо. Никакого чуда, конечно, не было: во всех углах валялись грязные обрывки мешков, поблескивали раздавленные и чисто обсосанные консервные банки. На половицах — засохшее серое месиво, и на нем фотографически четко отпечатались следы медведя. Ченга суеверно вздрогнул и отошел от двери. Хомоты, дух тайги!

Внизу, в пестрых камнях хохотала Куварка, грозно слоились синие дымы в гольцах.

Пастухи расположились под открытым небом, наладили ужин. Улькан крутил ручки транзисторного прием-

ника, бормотал свое «Чертова работа!» и страшными словами ругал медведя.

— Люди рода Улуткар произошли от медведя, — осторожно сказал Ченга.

— Вранье! — без должного уважения к возрасту крикнул Улькан. — Ты был начальником, а веришь такой ерунде. Человек — сам по себе.

Утром решили, что Улькан пойдет обратно на Тыгду — забрать продукты, оставшиеся с зимы.

— Чего там брать-то? — снова ерепенился парень. — Только зря ноги бить! Я этого медведя убью. Он теперь толстым стал, оброс сладким жиром. Убить надо!

Парень выжидательно, с оттенком высокомерия и укора глянул на бригадира. Ченга молчал, повернув лицо к чистым снегам гольцов.

— Я говорю: убивать надо хомоты! — точно глухому, с оттенком ехидства, крикнул Улькан.

Ченга стерпел оскорбительное поведение парня, знал: Улькан любит сахар и мягкие лепешки прямо с огня, а теперь по вине Ченги нет ни сахара, ни муки для лепешек. Мешки надлежало укутать в брезент и подвесить на вершины деревьев, а ящики с консервами опустить в яму, под навал камней. Но в тот день некогда было искать высокие деревья и рыть яму: вертолетчики торопились, не могли ждать. Ченга жалел, что не повез запасы по-старинному, на оленях: олени никогда не торопят, олени везде у себя дома.

Сейчас он жалел об этом особенно сильно. И, может, поэтому позволял молодому себя, старика, оскорблять.

Улькан ворошил кожаные сумы в поисках патронов от карабина.

— Хомоты не виноват, я виноват, — наставительно и миролюбиво сказал Ченга. — Хомоты нельзя убивать. Тут будут гневаться, будет плохо...

Ченга показал рукой на вершины гор.

— Ерунда, глупость! Никаких духов и бога нет. Будь бог, он бы не заставлял людей мучиться и работать! Буду следить — застрелю хомоты!

Деликатный Федор на время спора ушел в избушку, внимательно изучал погром, собирал крохи от медвежьего пиршества. Нашел две банки консервов, измятых, но не раздавленных, несколько замусоленных кусков са-

хару, выгреб из угла просыпанный чай пополам с пылью и комочками затвердевшего теста.

Тестом были заляпаны половицы, стены, обрывки мешков. Федор долго соображал: откуда взялось тесто?

Среди всякой рвани возле перевернутой лавки лежало слегка раздавленное ведро. Федор его поднял, погремел жестью, соскребая желтыми ногтями присохшее тесто. И вдруг вылетел с этим ведром из полумрака избышки, восторженно гукая и показывая ведро Ченге.

Ченга не сразу понял причину восторга Федора. И тот потянул его к двери избышки, тыча пальцем вниз, в засохшее месиво. Ченга еще раньше засек, что медведь, обедая, пользовался водой, но, огорченный пропажей запасов, пропустил это мимо сознания. Теперь он удивился: ведро стояло на верхней полке, зверь его сбросил, чтобы использовать по назначению — носил воду. Сухая мука забивала медведю пасть, зверь давился и кашлял, поднимая из мешка белые тучи пыли, пока не смекнул, что такое кушанье лучше всего есть с водой.

Федор, раскорячив ноги в летних унтах из ровдуги, показывал, как медведь ходил за водой на Куварку, лил из ведра воду в мешки с мукой, месил лапами тесто. При этом синенькие глаза Федора разбрызгивали веселье, борозды морщин на лбу и щеках прыгали, а в горле отрывисто и коряво булькали звуки, отдаленно похожие на смех.

Ченга тоже поддался веселью и начал смеяться, окончательно простив медведю грабеж.

За время жизни в тайге Ченга видел разных хитроумных хомоты, которые умели проделывать всякие штуки: выдавливать из закрытых жестяных банок свиную тушенку и сгущенное молоко, спускать камни на головы горных баранов, дудеть в отверстия скал — единственно для развлечения! Один хомоты в позе притаившегося охотника сидел на берегу речки Кыи, держал в лапах палку. Когда по перекасту пробивался мелкий хариус, зверь тихо сидел, но, едва показывалась крупная рыба, хомоты хлопал дубиной, глушил рыбу.

Этот и вовсе догадливый: месил тесто, воду носил ведром из Куварки! Такого Ченга не видел.

Глухонемой приставил ребро ладони ко лбу и добавил еще два пальца: вот, доскать, какой башковитый — семь пядей во лбу! Федор ткнул себя кулаком в

грудь, затем в грудь Ченги и махнул рукой вдаль. Это значило: почти как человек — ты и я!

— У-у,— сказал Ченга,— большой умник, дяличи!

Федор все топтался и загребал кривой рукой воздух, показывая, как стряпал медведь. Ченга повернулся к Улькану в надежде найти улыбку на его гладком лице. Но в щелках глаз парня по-прежнему мерцали ледышки ехидства.

— Дураки — радуются! Зверь их обчистил, а они радуются! — спускаясь к реке, едва различимо буркнул Улькан.

— Вернись! — велел Ченга. — Ты — молодой, крепкий. Паси сегодня оленей — твоя очередь.

— Мне некогда,— насмешливо бросил снизу Улькан, стараясь перекрыть шум Куварки.

— Долбому! Грубиян!

Улькана взяли вместо заболевшего старика Чокоты, и теперь Ченга жалел об этом.

От раздражения и усталости ноги Ченги мелко дрожали. Носком мягкого унта он толкнул маленький радиоприемник, стоявший на траве. Радио испортило парня. Только вот на охоту Улькан ходит без радио. Ест с приемником, спит с приемником. Оленей пасет — тоже держит радио возле уха. Слушает хвастливые песни и речи на всех языках. Хвастливые и непонятные голоса крутят беспокойный дым в пустой голове. «Проклятая работа!» — каждый день одно и то же твердит Улькан. Спит и видит нарядный большой город, где всегда весело и можно жить без работы. Каждую весну Улькан улетает искать такой город, но скоро прилетает обратно — с пустыми карманами и зеленым лицом. Лет пять назад парень окончил десятилетку и стал думать, что ему надо жить как-то особенно.

— Не возьму другой раз в бригаду! — говорит сам себе Ченга.

Федор, стараясь не потревожить расстроенного бригадира, утопал к стаду. В синеве неба, плотной до черноты затвердели сугробы-облака. От их блеска ломило в глазах.

К югу, над гольцами Чунгур-Хаяты, небо было белесым и мягким. Туда, вдаль, уходила тайга, вся в легком дыму дыхания. Сизый дым этот притенял дальние сопки, напускал на кедрачи и поляны таинственность, ко-

торая тревожит сердца молодых, манит в обманчивый путь.

Сквозь утихшее раздражение Ченга вспоминал себя в молодые годы. Как Улькана сейчас, его тогда тоже звало в зыбкую даль: вот за тем хребтом счастье и радость, вот за тем... А там еще и еще хребет, и все везде одинаково. Всегда у тебя остаются две руки, две ноги. Одна печень и один рот, который всегда требует еды. И везде надо уметь работать, ничего не меняется. Или притворяться, или работать — одно из двух.

Война выхватила из тайги Ченгу, за тысячу хребтов и сопок понесло Ченгу в гремящем вагоне. Война кончилась, пока ехал. В городе на краю земли (дальше простиралось море — чужие страны за ним) Ченгу посадили учиться, но он всегда думал о речках Кыя и Тыгда, о тайге, где все просто, красиво и нет никаких хитростей. Ничему вдали от родной тайги Ченга не радовался: синие дали зря манят, обманывают. Что есть у человека внутри, то и будет. Со стороны не прибавят.

Улькан этого не поймет. А может, поймет? Молодой совсем!

Ченга, успокоенный ходом своих мыслей, поднял к глазам бинокль.

Соседнюю лавикту, зеленовато-рыжую от ягеля, как бы вдруг занесло пылью, затушевало. Не стадо ли диких оленей набежало из редколесья? На Тыгде было: накатила лавина прожорливых дикарей — ягель на лучших выпасах вытоптали за одну ночь. С Тыгды пришлось уйти раньше времени. Хорошо еще дикие стада не увели. Когда рядом дикие, домашние олени быстро дичают, сливаются с дикими и уходят.

Лавикта очистилась, посветлела — оказывается, тень упала от облака. В бинокль хорошо виделся мягкий ягель, похожий на лисий мех. Различались редкие деревья, клубы округлых кустов стланика в сопках.

Где-то в этих сопках бродит хомоты — умник, дяличи, родоначальник людей рода Улуткар. Все это, конечно, улигер — сказка, красивая сказка для детей и взрослых, но она помогала древним жить, охотиться и сохранять богатство тайги. Не бей стельную сохатину, если даже ты голоден, не бросай в сухую траву горящую спичку, не бери соболя из чужой ловушки — дух тайги

видит, помнит. Хомоты, прародитель людей рода, пытливо смотрит сквозь чашу. Все это, думал Ченга, было уместно, красиво — как узоры на кумалане. И это помогало жить, оберегать в себе силу и доброту ума. А иначе как было выдюжить древним?

Улькан вернулся на заходе солнца — голодный, с пустыми руками. Наелся, лег на оленью шкуру и опять взялся за свой радиоприемник. Воздух скребла визгливая музыка.

— Выключи,— попросил Ченга.

Улькан приглушил радио. Ченга, подогнув под себя ноги и слушая шум Куварки, заговорил о связи времен и всего живого между собой.

— Ты, гляди, какой мудрец выискался! — вслух хохотнул Улькан.

Ченга стерпел, продолжал говорить как бы про себя, ни к кому особо не обращаясь.

— Ты, говорят, был начальником молодой,— сказал Улькан.— Если ты такой мудрец и все знаешь, почему тебя с начальников выгнали?

Речь Ченги звучала ритмично, как улигер, но сейчас он оборвал говор, умолк и твердыми колкими глазами уставился на Улькана. На камне лежал топор, лезвие его кроваво отсвечивало в свете костра.

— Тебя в школе учили не уважать старших? Чему ты веришь?

— В зарплату верю. И еще в сорок градусов,— хохотнул Улькан.

— Ты — не человек! Ты убил стельную сохатину — я видел!

— Это лето опять убью. И хомоты убью — вот увидишь...

Старик вскочил на ноги. Даже при свете костра было видно: лицо его стало белым, как вершина гольца в полдень. Ченга шагнул в темноту — подальше от сверкающего лезвия топора и толстого лба Улькана. Пошел по тропе — туда, где пощелкивали рога и копыта оленей.

«Выгнали, говорит, выгнали!» — трясся и бормотал про себя старик. Улькан попал в самое слабое место. Это его-то, Ченгу, выгнали? Нет — сам ушел! Правда было: молодой, работал начальником — сам ушел! Все бросил и ушел в гольцы, к оленям. Боялся. Голова у него

такая была: видел чужую глупость далеко вперед. Бумагу писало высокое краевое начальство, а в ней скрывалась ошибка, от которой будет худо лет через пять или двадцать. В Урях-Няме, к примеру, бумага приказывала строить звероферму, а корм брать в Благовещенске или на берегу Охотского моря. Чернобурка, видел Ченга, станет дороже, чем пять соболей.

Или вот школа. Бумага велела школу строить и учить детишек так и тому, чему ребятишек учат в теплых краях — одинаково! Читать учат, формулы и цифры писать учат — шить теплые меховые унты и пасти оленей не учат. Из такой школы, полагал Ченга, выйдут бесполезные для тайги и хозяйства люди — люди, которые не умеют разжечь костер и завьючить оленя. Школы везде должны быть разные, — смотря какой край.

Но своих мыслей молодой Ченга боялся, не мог их никому высказать. Разве он умнее высоких начальников: они там, наверху, все равно что боги — непогрешимы! Боги сердятся, мечут разящие молнии, когда им советуют.

Своих мыслей Ченга боялся. Со временем ему стало казаться, что за ним незримо следят, смотрят, целят в голову. И Ченга не выдержал, ушел в колхоз рядовым оленеводом.

Голову, понял к старости Ченга, природа дала ему большую, хорошую. Был в ней ум, а смелости не было. Все казалось: мудрецов и умников убивают первыми. Но ведь потом, много времени спустя, все переделывали так, как думал Ченга.

Токовала в камнях ночная птица, глухо ревела внизу Куварка, волоча по камням гул времени.

На Тыгду за продуктами Ченга сходил сам, с Ульканом он перестал разговаривать. Остаток летовки все трое провели в молчании. Лишь глухонемой Федор иногда гукал, чему-нибудь удивляясь.

Улькан ходил по отрогам хребта, следил медведя. Зверь всякий раз ускользал.

Один раз Улькан вернулся с мотком проволоки и обрывком троса — набрел на старую стоянку геологов. Из проволоки и куска брезента Улькан сделал себе висячую кровать под деревьями — окончательно отделился от пастухов. Валялся в устроенном гамаке, когда не ходил по лесу с карабином, вертел радио. Пасти оле-

ней шел с руганью («Чертова работа!»), но и там ничего не делал: ложился на мох и спал. Ченга будил его молча, пихал в бок.

С Куварки ушли, когда гольцы почувяли зиму и стали спускать границу снегов вниз.

Улькан ушел последним: на кромке снегов он заметил свежие следы медведя. Парень погнался и увидел на фоне белизны гольцов четкий силуэт хомоты. Зверь был большой и черный, с белым галстуком на груди. След широкий — такой же, какой они увидели в первый день на полу зимовья, заляпанном тестом. Красный от досады и злости, Улькан бегал по кромке снега: исчезли патроны от карабина — не было ни одного патрона!

...На следующее лето в гольцы поднялись со стадом оленей трое. Третьим был старик Чокоты. Ченга взял его вместо Улькина.

Продукты забросили на Кувыкту опять вертолетом, но в железных бочках, зашитых проволокой. Бочки сбрасывали в снег с неба, без посадки.

Но там, где тропа делает изгиб и поднимается на бугор с избушкой, Ченга вздрогнул, как и в тот год. Крыша избушки была опять сворочена набок (ведь ее подправили!), а дверь сброшена с петель. И что-то бугрилось там, между деревьями и избушкой, и нехороший запах несло вниз.

Вблизи разглядели: удушенный тракторным тросом, в дверях избушки лежит медведь. Ключья шерсти висят на сучьях, на стенах избушки, лежат на земле. Сквозь пыль и грязь проглядывал белый галстук — во всю грудь медведя. Из пасти зверя выпал язык, и по нему ползали рыжие муравьи. Не зря, значит, Улькан не спешил тогда уходить с Куварки! Трос, который поддерживал его гамак, теперь висел на шее медведя, истертой до кости.

Глухонемой Федор взбулькивал горлом и скорбно хлопал себя по бедрам. Показал жестами старику Чокоты, какой это был хитрый и ловкий медведь.

— Умник был, дяличи! — хмуро сказал Ченга.

Догнали испуганно и дико хоркающих оленей с выюками на спинах и поехали искать новое место для стоянки.

Война закончилась, но отец домой не вернулся. Не веря бумаге «пропал без вести», мать все ждала, надеялась. Мы перебивались кое-как. Хлеб еще давали по карточкам: кирпичной твердости горбушка в день на семью. К тому же я утопил карточки — упал в реку, которую переходил вброд. Сумку с хлебом и карточками замотало на перекате и унесло.

Мать была так напугана утерей карточек, что не могла ни ругаться, ни плакать. Она долго сидела в оцепенении, потом достала из сундука отцову рубаху, мешочек махорки и четверток спирту. Спирт берегся на случай возвращения отца, и мать, как бы извиняясь, сказала мне:

— Не умирать же нам с голоду! Пойдешь завтра к эвенкам в Няму. Найди там Захарку, отдай ему все это и попроси дичи. Захарка — большой зверовщик, у него всегда есть запас. Он славный, Захарка-то!

В Няму я вышел рано, едва рассвело. А пришел к концу дня, в сумерках, в разбитых ботинках. Встретила меня свора тощих и злых собак, рванувшихся от дымящих чумов. У собак меня отобрала старуха, похожая на черный сушеный гриб.

— Где тут Серенгеев Захарка живет? — спросил я старуху.

Сморщенной легкой ладошкой старуха махнула на чум, пестрый от заплат.

Внутрь заходить я боялся, потому что за стенкой чума раздавались звуки, похожие на рычание.

Старуха выявила неожиданно резкий и звонкий голос, крича Захарку. Рычание прекратилось, и спустя какое-то

время из чума вывалилось хилое заспанное существо в больших кожаных штанах. Над голяшками унтов штаны вздувались наподобие двух дирижаблей. Незнакомо и пугающе на меня глянул единственный глаз человечка, а съехавший набок рот его был когда-то разорван и зарос, как у рыбы, которая сорвалась с крючка.

Мать мне сказала «большой охотник», и я представлял себе Захарку если не великаном, то крепким, жилистым мужиком с твердой походкой и профилем куперовского индейца. Поэтому я растерялся и шепотом спросил старуху:

— Разве это Захар Серенгеев?

Старуха, видимо, не расслышала, зато хозяин старого чума энергично кивнул и застрекотал бабьим голосом, не выговаривая шипящие:

— Конесно, Захарка, кто же больше? А ты сей будес? Я назвался.

— Холосий, холосий мальсик!

Захарка затолкнул меня в чум, в котором густо устоялась ночь. Пахло салом и кислой кожей. Захарка, рассыпая искры, почиркал огнивом и зажег фитиль, который плавал в чашке с жиром. На столике я увидел кусок кабаньей грудинки и ситцевый мешок, из которого вкусно выглядывали поджаристые пшеничные сухари.

Захарка досыта накормил меня и только потом спросил, зачем я шел так далеко. Просьба матери дать сохатины или оленье стегно его несколько не удивила, подаркам он тоже не обрадовался. Сказал мне:

— Нисего нету, все скушали. Но ни се, ни се! В тайгу ходить будем. Пойдес?

Захарке я отдал табак и рубаху, а спирт, подумал, отдам после. Я боялся, что Захарка напьется и будет ночь дуреть и драться.

Захарка уложил меня на мягкие шкуры, сверху накрыл кухлянкой.

Утром, когда солнце заскреблось в лаз чума, я услышал громкий говор и смех. В тесном жилище томились ранние гости — старики и старухи. Они ели сухари и грудинку, пили кирпичный чай, набивали трубки махоркой, которую так долго берегла мать для моего отца. Старик в облезлой меховой тужурке, надетой на голое тело, вертел в руках отцову рубаху и хвалил ее, цокая языком.

К моему ужасу, Захарка с легкостью отдал старику рубаху.

Завтракать было нечем. На столе сиротливо чернел один-единственный подгорелый сухарь. Голый стол и голый чум Захарки, бархатный от копоти жирника, вогнули меня в тоскливое состояние. Сам Захарка шуршал кожаными брюками и беззаботно сюсюкал. Брюки-дирижабли из кабарожьей ровдуги лоснились от жира и пота, а ватная телогрейка была опоясана простой ситцевой тесемкой. От этого странного человечка, раздумывал я, вряд ли будет какой толк, и мать напрасно на что-то надеялась. Как я теперь вернусь домой? Зря только ботинки разбил. А что теперь будет с матерью и маленьким братом? Я собирлся незаметно выскользнуть из избы, но Захарка надел на плечи понягу, взял карабин и велел идти следом.

Няма в то время представляла собой путаницу из изб и чумов. Накаких улиц не было. Захарку часто останавливали галдящие старики и женщины, и он подолгу болтал. Возле одного из чумов варилось на костре мясо, и мы совсем застряли. Хотя нам дали тут по куску дымящейся вареной оленины, я нервничал и тихо презирал Захарку за его говорливость.

Возле соседнего чума он взялся рубить дрова, потом сучил дратву для старухи, у которой порвались унты. Я уже не надеялся увидеть «баякит» — фартовое место, где будто бы есть солонец и полно всякого зверья.

Но все же мы выбрались на таежную тропу. В тайге Захарка вел себя так же легкомысленно, как и в стойбище. Посвистывал, передразнивая птиц, срывал синие ягоды жимолости, пугал криком бурундуков, копал корешки. Затем срезал веточку, уселся на колодину и стал мастерить свистульку. Нож у Захарки оказался острым, как бритва. За плечами у меня висел мешок, к которому вместо лямок было подшито старое полотенце. В пустом мешке одиноко болталась четвертушка, и Захарка, очевидно, видел ее очертание:

— Холосе, холосе лезит в меске! Когда мне дас?

Тропа шла по каменистой россыпи, от досады я оступился, упал и покатился вместе с камнями. «Бутылка!» — в ужасе подумал я.

К счастью или несчастью, бутылка оказалась целой. Пока я тер зашибленное колено, Захарка, смеясь и сю-

сюкая, развязал сзади мой мешок, вынул бутылку, разболтал и посмотрел на свет. Подержал, хотел, очевидно, выпить, но раздумал и сунул спирт за пазуху. Взамен взятого он сунул мне в руки свистульку.

Теперь мой горе-охотничек, сокрушался я, напьется и никакого зверя нам не видать.

— Я сам буду сидеть на солонцах, дашь мне ружье?

— Конечно! — легко согласился Захарка. — Возьми, на.

Не верилось глазам: Захарка снял с плеча карабин и протянул его мне. Мне было четырнадцать лет, иногда я ходил с дробовиком на уток, а теперь я держал в руках настоящий дальнобойный карабин! Теперь я шагал за эвенком уверенно и спокойно: пустыми мы домой не придем. На место охоты мы пришли к вечеру. Возле ключа, струйки которого были едва заметны в траве и мху, стоял балаган, накрытый берестой. Над старым кострищем белели три березовые палочки, похожие на остров маленького чума. Захарка объяснил, что брошенный костер надо всегда присыпать землей и пеплом, поставить над ним палочки с наговором: «Огонь, дома сиди, в тайгу не ходи». Огонь и уснет в своем чуме, не захочет гулять по падам и сопкам.

Мы сварили в медном котелке чай. Захарка дал мне сухарь, захваченный из дому. Сам он выпил спирт, погрыз корешок и выглотал кружек пять чаю.

— У-у, sibko хороcо! — объяснил Захарка и лег, запахнувшись в телогрейку.

Я стал его тормошить, торопя на солонец, но Захарка сладко засвистел носом, и скоро свист этот перешел в стойкий храп. Я тряс Захарку, таскал его за рукав и раза два ударил кулаком в живот. Захарка не откликнулся и храпел так, что с лиственниц сыпались чешуйки коры. Звери, конечно, давно разбежались за сто километров — какая уж тут охота! Где солонец — я не знал. Ночь навалом черного камня придавила тайгу, сквозь Захаркин храп чудилось рычание медведей. Я сидел в балагане, крепко обняв карабин.

...На рассвете меня разбудил выстрел. Я вскочил, не узнавая места и удивляясь блеклости травы, сопки и неба. Захарки и карабина в шалаше не было. Пока я соображал, где стреляют, тягуче ахнули два новых выстрела где-то у подножия сопки. Я побежал туда.

Весь мокрый от росы, поцарапанный ерником, я на-шел Захарку на чистой широкой поляне. Захарка поти-рал рукой шею и, как мне показалось, смущенно хихи-кал.

— Промазал?!

— Засем? — добродушно спросил Захарка и показал на закраек леса.

Там на дереве краснела печень и лежал зверь с распоротым животом.

Мы подошли, и Захарка отрезал мне ленточку пече-ни, а потом велел съесть белую от жира почку, похожую на большой боб. Никогда не думал, что сырая почка от-зывает вкусом кедровых орешков. Я съел ее целиком. Под пиджаком у меня стало тепло и радостно, как от горячего молока.

Зверь был большой и, наверное, очень красивый: че-тырнадцатиконцовые рога лежали в траве тяжелой ко-рягой. Но о красоте тогда не думалось, в голове стояло одно: мы спасены от голода, я принесу матери увесистый кусок изюбятины! От радости мне хотелось прыгать и даже обнять Захарку.

Мы разделали тушу изюбра и построили из жердей нечто вроде лабаза.

— Там исо есть! — показал Захарка в сторону ер-ничных кустов.

Мы пошли разделять второго зверя.

— О-ё-ё! — радовался я. — Ты и вправду большой охотник!

Солнце согнало росу, нагрело воздух — стало трудно работать. Я отгребал внутренности, раскладывал на тра-ве части туши, которые Захарка ловко отделял ножом, не повреждая костей. От полубессонной ночи и сытой еды меня клонило в сон, но Захарка сказал:

— Исо один есть.

В березняке мы нашли третьего зверя. Этот бык-ро-гач был мощнее первого. Туша его вздымалась над смя-тыми кустами бугром. Рога у основания я не мог обхва-тить ладошкой — такие они были толстые.

— Два туда послы, — махнул на сопку Захарка.

— Что же ты не стрелял еще? — крикнул я в запаль-чивости. — Дай мне карабин!

— Нельзя, нельзя! Самки были, рябятиски у них — маленькие, во!

Как вчера вечером я ненавидел Захарку за его равнодушный храп, так сегодня я любил его! Три выстрела — три зверя! Целая гора хорошей еды, которой хватит на всю Няму. И мне кое-что достанется. Забегая мыслью вперед, я видел, как обрадую мать.

К балагану мы вернулись после полудня. Изюбрина варилась в котле, шипела на рожнях. Когда в животе было пусто, я думал, что съем целый котел мяса: буду рвать его зубами, давиться, урчать, как пес. Но сейчас я едва одолел кусок, выпил кружку бульона. Прилег на мох. Дым от костра путался в ветках лиственниц.

Захарка мне казался теперь красавцем. Оказалось, он вовсе не одноглазый — левый глаз его был просто прищурен, будто Захарка постоянно смотрел сквозь прицел карабина. А шрам возле губ придавал Захарке вид бывалого человека. Ничего, что рот слегка набок! Это даже красиво и необычно.

В Няму мы возвратились друзьями. Дорогой я поведал, как мной были утоплены в реке хлебные карточки, а Захарка рассказал о давней встрече с медведем. Медведь-шатун неожиданно преградил тропу, Захарка даже не успел скинуть с плеча ружье. Убил он зверя ножом — медведь только успел полоснуть когтями по спине и лицу. Навстречу нам попались старухи с оленями. Оказалось, он едут на солонец, чтобы захватить в стойбище Захаркину добычу. Откуда они узнали?

— Телефон! — пошутил Захарка.

Вечером возле его чума собралась вся Няма: разгрузили тяжело навьюченных оленей, мясо цепляли на вешала, под навес. Каждый отрезал себе кусок свежины, уносил сколько хотел. Стоял веселый гвалт, вертелись под ногами собаки, ребятишки, точно конфеты, сосали кусочки сырой печенки. Захарка ходил важный и делал вид, что все это его не касается.

Я хотел спрятать кусок получше в свою котомку, но постеснялся. Ничего, утешал я себя, все не растащат, завтра Захарка сам мне отрежет.

Но в этом я сильно ошибся. От ходьбы и работы у меня закрепло все тело, и утром я не мог себя заставить подняться вовремя: дрых почти до обеда.

А когда вышел из чума и заглянул под навес, едва устоял на ногах: вместо изобилия я увидел на шесте несколько ребер — на одну варку не хватит!

С выпученными глазами я побежал искать Захарку, но его нигде не было. Я сел на чурбак и заплакал.

В таком виде меня и застал мой новый друг. Я сидел, смотрел на свои разбитые ботинки, из которых вылезли пальцы, сморкался и плакал.

— Беда полусилась?

— Вон,— указал я на пустой навес,— мясо наше украли!

Захарка был весь увешан свертками и мешочками, он стал трястись от смеха и ронять эти мешочки.

— Украли! Разве эвенки воруют? Никогда не воруют: надо — бери! У нас всегда так. Ребятически, бабы-то мясо взяли себе кусать. Музиков-охотников война сглотила. Захарка один остался.

Он стал собирать мешочки и складывать мне на колени:

— Крупа, сахар, чай... Сельпо брал мясо, продукты давал. Тебе все — неси домой!

Стыдась слез, отворачиваясь, я пробурчал, что мне мяса надо.

— Нисе, нисе! Будем делать. Отдыхай, завтра утром домой пойдес. Олеска будем колоть.

Но и на другой день я не мог уйти домой: мешок мой оказался слишком тяжелый. Захарка положил туда крупу и сахар, оленье стегно, жир, связку сушеной рыбы, отрезок ситцу — матери на платье. Мне Захарка подарил унты — почти совсем новые.

Такую поклажу я не мог унести — пришлось ждать почтальона, который развозил почту на вьючной лошади.

Налегке шагать было весело. Я вдыхал запах лошадиного пота и листьев багульника, пытался петь. И, слушая мерный постук лошадиных копыт, думал. Думалось о злобной сути войны, о людской жадности и бахвальстве. Я тогда был уверен, что любая война начинается с простой драки: два человека хвастают, стучат кулаками в грудь, потом начинают срывать друг у друга ордена и медали. Пушки, огонь, голод, беды — это все после. При коммунизме, думал я, не будет никаких войн, чванливости и бахвальства, но его, коммунизм, установят на земле не хитроумные газетные грамотеи с портфелями в руках, а такие простодушные, мирные и добрые люди, как Захарка. Честность и доброта, думал я тогда своим мальчишеским умом, самое сильное оружие на земле.

## Рыба- радуга

Чикой — одна из тех рек, которые для Байкала собирают по темным таежным распадкам холодные родники. И вода Чикоя светла, как стекла фотографической оптики. Из кабины вертолета видны камни, коряги-топляки, наносы песка, зеленые облака тины на дне реки. И даже редких тайменей видно на светлом фоне песка.

Вертолет МИ-1 — зеленый кузнечик с толстеньким пузом — забирает вправо и вверх. Река круто уходит в сторону. Теперь над нами — гольцы Чикоконского хребта. Острые скалы, никогда не тающий снег, зеленые дымки кедрового стланика, сумные заросли лиственника в распадках. Ломаные волны гольцов уплывают за горизонт, прячутся в теплых сизых туманах. Пилот Юрий Скляр что-то кричит сквозь стрельбу и грохот цилиндров двигателя, делает жест рукой.

Озеро!

Оно лежит меж корявых нагромождений льда, камня и леса куском зеленого целлулоида. Я вижу, какое оно круглое, холодное и глубокое. Только у самой стены гольца мягко желтеет сквозь воду песчаная отмель. Чуть правее — канава врезалась в кочкастые берега. На отмель и в эту канаву один раз в году заходит таинственная высокогорная рыба озера.

Вертолет резко теряет высоту, я навожу вниз объектив кинокамеры. Скляр делает круг над озером. Шершавое и крутое брюхо гольца, скалы, кипящая вода, кочкарник, сахаристо-белое поле льда, водопад, ватные комья кедровника... И вдруг вертолет напуганной птицей кидается прочь от озера, несется через хребет к Чи-

кою. А уже фиолетовый предзакатный дым ползет по изгибу шара земли.

Когда машина мягко ткнулась на поляну возле улу-са Семиозерье, все это показалось сном: глубинная зелень вод озера, плечи и снег гольцов, бегущий по кочкарнику лось, шлейф водопада.

— Вы видели,— сказал Скляр, выключив двигатель,— без проводника там не сесть. А потом инструкция: одного в таких местах высаживать запрещается. Подвел нас этот черт Новиков!

— Я возьму здесь коней и проводника,— говорю я и тоже ругаю Новикова, лесничего, которого мы не нашли в Харцаге.

Скляр протянул мне ракетницу и четыре патрона к этой штуковине.

— А ровно через десять дней я прилечу за вами на озеро,— сказал пилот.— Найдете площадку, посадочный знак поставите. Ракета — для всякой крайности.

Вертолет шумно загрохотал, подпрыгнул, смешно качнулся зеленым пузом и кинулся догонять последний солнечный луч. Только сейчас я заметил, что на бугре за лужайкой полно ребятни и среди них — ни одного взрослого. Это значило: неудачи этого дня не кончились, худшее впереди. Самый храбрый из мальчиков подтвердил мою догадку:

— Все поразъехались. Только один дядя Моксор дома. Вон он идет сюда.

— Сайн байну! Мэндэ-э-э,— закричал Моксор издали.— Старый знакомый, однако?

Куча пожитков, оставленных вертолетом среди лужайки, сильно удивила Моксора. Там лежали: спальный мешок, ящик с консервами и печеньем, надувная лодка, кинокамера, мешок сухарей, капроновая сеть, три фотоаппарата, телогрейка, ящик с кино- и фотопленкой.

— Жить приехал? — сказал Моксор.— Шмоток много.

Мы опустились на мешок с лодкой, и я подвел не веселые итоги дня и всей прошлой недели: не вовремя загорелись леса, и Скляр подбирал в тайге сброшенных с самолета пожарников. Из-за этого вертолет пришел в Харцагу с опозданием на четыре дня.

Харцагинский лесничий Новиков, еще зимой предло-

живший полет на озеро-загадку и назначивший точный срок, ждал все эти четыре дня, а на пятый отчаялся и ушел в тайгу.

— Коня я дам,— сказал Моксор.— А проводника и тут не найдешь. Мужики разъехались: кто скот пасет, кто дальние покосы смотреть ушел.

— А ты сам ходил на Шэбэты?

— Как же! — сказал Моксор.— Двадцать четыре года тому назад, пацаном. С дядькой зверя там били.

— Вот и пойдем с тобой. Фильм снимать будем, рыбналовим.

Моксор шлепнул ладонями по своим толстым коленям и весь затрясся от хохота:

— «Форель озера Шэбэты», а? Да там сроду никакой рыбы не было. Мертвое озеро. Долон-Нур, Семь Озер наш улус называется. В гольцах вокруг улуса много мертвых озер. Зачем врать в газете?

В самую рану Моксор угодил своим хохотом. «Форель озера Шэбэты» — так была озаглавлена в газете моя заметка. Я написал ее по рассказам охотника Гриши Юколова и Новикова — лесничего из Харцаги. Но в редакцию позвонил старый геолог и стал сердито доказывать, что в Шэбэтах нет рыбы и быть не может: он сам две недели жил в гольцах Чикоконского хребта возле этого озера и хоть бы один всплеск увидел!

— Объективы фотоаппарата и кинокамеры правду не скроют,— сказал я Моксору.— Ты сам увидишь, сколько там рыбы.

Мы перетаскали мешки с лужайки, и дома за стаканом вина Моксор стал задумчив. Смеяться, по крайней мере, он перестал. Глаза Моксора стали узкие и длинные, как у Будды.

— Вишь ты, серьезное это дело,— сказал Моксор.— Жапова нет, Гармаев в райцентр уехал. Далеко в Шэбэты, дорога худая туда.

Моксор еще подумал, потом пожевал кусок колбасы и сказал с некоторой нетвердостью в голосе:

— Однако не вспомнить мне дорогу туда. Худая дорога!

Но эхолот чувства моментально засек колебание собеседника. Я стал наседать:

— Скажи честно: ведь и тебе хочется еще раз увидеть Шэбэты?

— Не-е,— замотал головой Моксор,— двадцать лет прошло. Забыл дорогу!

— А какой мы с тобой фильм снимем, Моксор! У тебя лицо, между прочим, фотогеничное. Как бог будешь глядеть с экрана.

Для вящего эффекта я потрещал кинокамерой, похожей на пистолет чудовищной формы, и дал потрещать Моксору. Мой славный друг еще долго сопротивлялся и вот уже где-то в три часа ночи полез в сундук. Из сундука Моксор извлек лафтак затирханной карты, озабоченно поводил по нему острием вилки, пробурчал наконец:

— Ладно. Отвезу, брошу тебя на озере, сам обратно поеду. Пусть там тебя медведь сожрет.

И вот уже пятый час кряду мы качаемся в скрипучих казацких седлах. Тропа бежала среди цветастой мозаики альпийских лужаек, среди мхов, среди зарослей ерника и жимолости. Сейчас сучья корявого листвяка царапают бока лошадей. Моксора везет карий жеребчик с белым храпом и белой гривой. Саньке Лудупову (юнец этот взят затем, чтобы скрасить на обратном пути Моксорово одиночество) досталась прыткая необъезженная кобылка. Меня Моксор усадил на черного мерина с очень странной фантазией: мерину все кажется, что в седле у него никто не сидит. Животное это не признавая хлыста и поводьев, апатично бредет позади.

Кончился лес, и снова — плотные заросли ерника. Кажется, что лошади по самые уши плывут в кипящей зеленой воде. Каменистые кручи плотно зашторили горизонт, впереди дыбятся вершины Чикофонского хребта, которые мы должны одолеть. Воздух горяч и жидок от зноя.

Но вот солнце круто упало в камни. И быстро стал густеть сумрак в распадке. Стало холодно. Пора о ночлеге подумать. Но Моксор торопится, гонит и гонит нас вверх по распадку.

— Тургэн! Бу гээгдэхэ,— командует Моксор.— Быстро, не отставать!

Он тоже думает о ночлеге. На месте разбивки табора должны быть три компонента: дрова для костра, вода и корм для лошадей. Вода курлычет внизу, в каменистой речке, но травы, годной для корма, нет: торич-

ник, болиголов. И еще какие-то пахучие до одури травы на камнях.

Но вот мягкой зеленой заплатой мелькнула поляна с порослью пырея и вейника. Погнутым штыком сухая листвень торчит посреди поляны. Моксор рубит ее на дрова. Мороз и сумрак стекли в низину. Санька Лудупов, медный от бликов огня, жарит шашлык.

— Ты у нас завхоз и повар, — говорит Моксор Саньке, — важный человек!

— Плохой завхоз, ахай Моксор! — хохочет Санька. — Я не могу снабдить вас на ночь спальным мешком.

И правда, у Моксора нет спальника. Всю ночь через каждые полтора часа он вынужден вставать и поправлять костер — спасение от дыхания льдов. Но вид спальника оскорбляет Моксора: мужчина в тайге должен быть всегда начеку, а спальный мешок связывает по рукам и ногам. Зато у Моксора есть шуба, которую он с видимым удовольствием натягивает на свое тучное тело. В свете луны зеленеют снега гольцов, пахнет дымом костра, горной полынью и талыми водами.

На второй день пути тропа исчезает. Мхи заполонили, заклеили давний след человека. Но меж камней, в кочкарнике, в брусничнике, все же заметен слабый пунктир тропы. Огромная скала, похожая своим острием на нос линейного корабля, рассекает речку Солонцовую надвое. Проводник сворачивает налево.

Все время мы идем речкой — заблудиться, в общем-то невозможно. Но потерять тропу — это значит напороться на бурелом, попасть в плен к осыпям, рывинам, тупикам. Люди выйдут, но лошади сдохнут от непосильной работы и голода. С вертолета на отроги хребта взираешь, как господь бог, но здесь, внизу, среди ко-рявых лесов, высот и громадин камня, ты — иголка в стогу сена.

Моксор начинает нервничать. Тургэн, бу гээгдэхэ! Быстро, быстро! Все ли цело? Не оборвались ли торока с седел, вещи, топоры? Наш маленький караван ныряет в темный подвал кедровника, а тропа здесь совсем теряется. Не то по памяти, не то нюхом ведет нас Моксор. Из кедровника мы делаем петлю к речке, заходим в русло. Лошади начинают прядать ушами от ужаса: вода курлычет, орет, грохочет в окатанных валунах, подковы скользят — того и гляди, лошажья нога хруст-

нет в заломе. Глотая брызги, думаю: «Ну, теперь мы окончательно с тропы сбились!» Хватаю то кинокамеру, то фотографический аппарат. Снимать почти невозможно: лошадь култыхает, мотается, приседает. Плевки летят из-под копыт в глаза и объективы.

Но нюх Моксора опять спасает: мы вылезаем на берег, и тихая тропа плывет сквозь мелкий гольцовый ерник. Во мхах тропа пропадает снова, и еще часа полтора мы едем вслепую. Но перевал уже близок. Кварцем блестит снег гольцов, режет глаза. Исчезают листвяк, березы, ивы. Лишь корявые, изломанные ветром сосны да островки кедрачей мохнатят склон. Въезжаем в сумрак последнего кедрача. Чувствуя время обеда, моя лошадь отстаёт, хватая зубами ветки. Нечто странное видится впереди: Моксор стоит в позе человека, который молится, Санька дико пляшет вокруг смолистого кедрового пня. В руках у обоих — пучки листьев, рты их тоже набиты листьями.

— Черемшу ешь! — показывает под ноги Моксор, на пышную клумбу.

Будто кто нарочно посеял здесь черемшу. Растет она обособленно, круглой грядкой, черешки толщиной в палец. Жую сочные стебли. Вкусно!

Моксор радуется:

— Правильно шли! Тут двадцать пять лет назад мы с дядькой чай варили, с того пня смолье для костра стругали, черемшу эту ели.

Мы сытно обедаем, таежный чеснок придает еде блеск. Разнузданные лошади тоже что-то жуют в тени кедров. Санька, завхоз, набивает торока и карманы листьями черемши.

Второй день мы едем в гору и в гору. Но подъем был малозаметен. Теперь он крут, каменист. Из кедрача на спину гольца выводит отличная тропа — ее выбили крепкие ноги изюбрей. Их «орешки» там и сям рассыпаны по тропе. Редкие кедры, горбятся, пытаются взбежать на спину гольца. Но огненные грозы, снега и ветер сжигают их заживо. Мертвые деревья топорщат голые сучья, корневища обнажены, скрючены. Звериная тропа мудро огибает лавину снега, выводит на перевал. Делаю много снимков. Хватаю разные аппараты, встаю на седло ногами, перегибаюсь вниз, сажусь задом наперед, к хвосту лошади. Поводья я уже давно не держу в руках,

она идет сама по себе (ах, Моксор, какую-то ты славную дал мне лошадь!). Сизые дымы июньского испарения скрывают низины и то место, где был разбит ночной табор. Палит жаркое солнце, и снег режет глаза.

Казалось, что на перевале трудно будет дышать от высоты. Но воздух свеж и терпок от запаха кедрового стланика. Лошадей мы ведем в поводу. Талая вода чавкает под ногами во мху. Водораздел. Отсюда ручейки бегут в обе стороны — к Чикокону и Чикою. Но конечная «станция» у ручьев одна — Байкал.

Еще десяток шагов. Глазам открывается та, другая сторона перевала. Свистит ветер, качая ветви кедрового стланика. Корневища стланика обнажены, они свиваются клубками змей. Бегут вниз огромные скелеты кедров. Станные, инопланетные картины лежат там, в сизой низине. Земля изрыта, порублена чем-то сверхмощным и грубым. Будто смотришь на место боя космических кораблей или прииск, где в незапамятную древность работали экскаваторы марсиан. Но это всего лишь следы ледника — гольцы были эпицентрами во время оледенения Земли. (Вот как описывает эти места ученый-географ В. Заморуев: «Верховья больших долин представляют собой трог. Хорошо выражен троговый характер долин рек Горанкова, Быстровой, Чикокона и Мельничной. Склоны их — особенно в верховьях — представляют собой отвесные скальные обрывы, высота которых местами доходит до 200 и более метров. Ширина трогов местами достигает километра. На дне их прекрасно сохранился бугристый экзарационный рельеф с курчавыми скалами, бараными лбами и ригелями».)

Моксор проверил, крепко ли держатся седла, мешки, торока, и мы спустились к воротам первого трога. Изюбриная тропа бежала вниз сквозь мертвый кедрч, лошади повеселели. Но вдруг Моксор спешился: прямо на тропе в воротах трога лежал медвежий скелет. Ключья шерсти висели на кустах и траве. Хвороба свалила «хозяина тайги» или рана от охотничьей пули?

— Муу ёро, — ворчит Моксор. — Худая примета!

Воображение поражали обилие изюбриных следов и чистота воды. Тихо переливалась эта вода в бочагах с белым песком на дне. Издали долетал глухой рев. Это гудел водопад реки Мельничной. Трог Мельничной под прямым углом примыкает к трогу Глубокой, руслом

которой мы шли. Но мы слышали только гул Мельничной. Скалы и ригель закрывали собой реку. Копытами коз и изюбрей в земле были выбиты глубокие тропы, по одной из этих троп мы поднялись на высоту, к скалам. И тут Мельничная предстала во всем своем блеске и хаосе. Трог ее уходил к высотам. Вода Мельничной неслась с бешеной скоростью, крутя жернова — камни. Со скалы на водопад было страшно смотреть. Перед тем как упасть вниз, вода натывалась на гладкую плиту во всю ширину реки и, визжа, летела по ней, обрывалась с плиты белым орущим шлейфом. Бывавшие здесь охотники говорили мне год назад: до водопада держится простой, Чикойский хариус, за водопадом совсем другой, водопад — преграда рыбе. Хариус и форель иногда берут приступом невысокие водопады, но этот из-за плиты неодолим. Но опять, как и в Глубокой, поразил цвет воды. Синеватая, точно в ней растворили камушек лазурита, и в то же время настолько чистая, светлая, что в ней было бы странно увидеть рыбу. Делая реку мертвой, выше водопада лежало огромное поле льда.

— Где же озеро?— спросил я Моксора.

Глядя два дня назад из кабины вертолета, я заметил, что Шэбэты, водопад и поле льда лежат рядом, как бы в одном кадре. Но сейчас я совершенно потерял зрительное чутье. Моксор тоже растерянно оглядывал трог Мельничной: льды, камни, сопки, за ними — гольцы в белых заплатах снега. Не очень уверенно мы двинулись вдоль Мельничной.

— Смотрите!— закричал вдруг Саня сквозь гул воды.— Там землянка!

На той стороне Мельничной темнел сруб. Нелепо и дико было видеть среди этих неземных пейзажей и хаоса творение рук человека. Петляя в лабиринтах из глыб камня, злых струй и льда, рискуя переломать лошадям ноги, мы одолели реку. То, что Саня назвал землянкой, оказалось коптильней. Рядом стоял огромный шалаш с поломанными стропилами.

— Здесь коптили рыбу,— сказал я Моксору,— форель. Озеро близко.

— Рыбу?— засмеялся Моксор.— Мясо коптили. Какая здесь рыба?

И он показал на льды Мельничной.

Пока кипел чай, мы починили шалаш, сложили под крышей свои припасы. Чай мы пили почти стоя — так не терпелось увидеть озеро. Опять перешли на тот берег Мельничной, едем все в гору и в гору. Густой лес: листвяк, корявые березы, кедры, ольха, кедровый стланик, багульник — все перемешано. Плешистый лоб гольца маячит над лесом, закрывая небо. Откуда здесь озеро — может, Моксор сбился с пути? Но тут нам проводник крикнул вдруг сбившимся от волнения голосом:

— Вон там оно блестит, там!

За деревьями краем пропасти забелела искристая пустота. Озеро? Через четверть часа, черпая пригоршнями, мы пили светлую воду Шэбэт.

Прежде всего глубокая, первозданная тишина. Голец в белых заплатах. И зеркальное стеклянное поле родниковой воды, хранящей в себе тайну природы. «Берег и дно Шэбэт представляют собой нагромождение каменных глыб. Под водой в темных каменных катакомбах, прячутся ярко раскрашенные рыбы, но само озеро кажется безжизненным. Прекрасным, но мертвым», — записал я год назад со слов охотников.

Теперь, когда цель похода — перед глазами, стало ощутимо, как мы устали. Но все же у нас хватило сил добраться к противоположному берегу, под голец. Здесь под гольцом и была та самая отмель, куда выходит раз в год рыба Шэбэт.

Мы раскинули на сыром мху лодку и быстро надули ее. Так же быстро протянули по мелководью сеть. Солнце упало за высоту, под гольцом стало льдисто и сумрачно, пугающе и бездонно чернела вода. Гольцами, камнями, черным лесом и черной водой владело безмолвие. Безмолвие природы всегда источает магнетизм мистики. Вспомнился Харон греков с его челном, подземная река мертвых и тар-тар.

Моксор с чувством глубокой иронии смотрел, как мы ставим сети. Он не преминул еще раз заметить, что я чепуху написал в газете про это озеро. Будь в нем рыба — сейчас, на закате, плеск стоял бы, мальки бы у берега сустились. Он то, Моксор, знает: не раз в детстве с дядькой — охотником пил чай на берегу Шэбэт! Вода пуста. В гольцах много таких озер.

— Чего ты гудишь? — расвирипел я. — Больше говорить не о чем?

К табору мы ехали молча. Чернильная вода Шэбэт и правда казалась мертвой. И в лесу — ни звука. Хоть бы птичка какая пискнула. Только Мельничная глухо орала внизу, под ригелем, крутя жернова-камни, баюкая скалы. От полей льда тянуло январской стужей. Мы с Санькой спрятались в спальные мешки, но Моксор опять ворошил всю ночь костер, трясаясь от холода или дымясь от жара огня. На рассвете к Мельничной вышел из кедрача лось, огромный бык с рогами-корягами. Долго стоял, нюхая дым.

Утром на озеро мы поехали с Саней вдвоем: Моксор, запахнувшись в свою шубу, лег на спальные и блаженно захрапел. На темном спросонья ригеле по крупам коней били косматые ветви кедрового стланика, брызжа росой. На скулах гольцов лежал нежный румянец, от озера поднимался пар.

— Рыбы, рыбы! — закричал Саня, когда подковы коней зацокали о мокрые камни.

В камнях вились струи робкого ручейка. Я и сам видел, как в воде мелькнуло несколько быстрых лезвий. Но Саня первым заметил рыб. Бросив коней, раздвигая чепуру, прыгая с камня на камень, мы пошли вверх по ручью, к берегу озера, откуда бежал ручей.

— Вот они! — крикнул Саня и камнем оглушил одну из рыбешек.

Она была величиной с авторучку. Серая. Глаза чуть навывкате, как у лягушки. От чепуры и кедров на ручей падал густой сумрак, но мы увидели, что все лунки ручья забиты такими рыбками. Они водили хороводы в каменных лунках, шныряли в лабиринтах ручья. Ручей питался водой озера. Струи его били из-под валунов, и мы решили, что в ручье резвятся мальки той рыбы, которая обитает в самом озере. По ту сторону валунов в воде Шэбэт мы тоже увидели серых маленьких рыб. Под валунами были для них ходы. Тяжелая гладь озера тонко курилась, гнала на берег стужу и запах снега.

От торопливости и волнения я не мог попасть ногой в стремя: озеро заговорило, оно готово поделиться своей тайной! Мы выехали на край лесистого ригеля, и в бинокль я увидел, что оставленная с вечера сеть в заливе исчезла. Лежали на берегу лодка, весла,

торчали колышки, вбитые нами в песчаное дно залива, а сеть исчезла. Мелькнули под ригелем в редколесье какие-то гнилые строения, но мы заторопились к заливу. Может быть, лось, зайдя напиться, изодрал и унес на рогах нашу сеть? Тогда пропал эксперимент и весь смысл поездки: без сети мы не увидим, что за рыба живет в Шэбэтах.

— Э, да ее в супонь скрутило! — крикнул мальчик, первым добравшийся до воды. — На дно сеть-то ушла вся.

На мягком белесом песке залива пестрели рыбы, окутанные капроновой паутиной. Точно во сне столкнули мы на воду лодку и точно во сне стали выпутывать бьющихся рыб. Их было десятка два. Обалдев от счастья, мы часа полтора глядели на этих рыб. В поле зрения плясали блики радуги, как если бы перед глазами крутили драгоценные камни. Зеленое, красное, черное, синее... Я положил отдельно одну из рыб. Словно из черной эмали было отлито ее тело. Даже живот был угольно-черным. Но по черному лежали яркие цветные полосы, крышки жабер, казалось, отделаны изумрудом, а плавники и хвост были черно-красными. Уж как ни красив таежный речной хариус, а эти рыбы превосходили его богатством окраски. Но несколько рыб в сети оказалось белых, хотя формой они не отличались от черно-красно-зеленых.

Моксор топтался возле шалаша и готовил завтрак, когда мы раскрыли перед ним брезент с рыбой. Моксор сердито глянул на яркий букет красок, потом на нас. Проводнику показалось, что мы собираемся его мистифицировать. Но вот Моксор присел на корточки, перебрал всех рыб, одну даже понюхал и лизнул языком. От избытка чувств Моксор зашелся хохотом и, хохоча, шлепал толстыми ладонями по плечам то меня, то Саню.

— Как ее фамилия?

— Форель! — сказал я.

Я даже и мысли не допускал, что это может быть что-то другое. Так высоко в хребты из Чикоя по речкам поднимается только хариус. А речной хариус не может жить в тихой озерной воде. Быстрые ледяные струи горных рек — вот его дом.

Удачно, несмотря на «худое знамение» — скелет

медведя, сдохшего на тропе,—начался наш первый день на Шэбэтах. Но в этот день Моксор, взяв всех коней и Саню, должен спуститься вниз, к себе в Долон-Нур.

А посадит ли Скляр вертолет на берегу Мельничной? Вот это был вопрос! Берега этой адской речки составлены из «бараньих лбов», чуть притрушенных мхом, илом, ветками. Идти через перевал одному, пешком? Жуткое это занятие!

Наш «завхоз» Саня сложил во льду рыб, три за жарил на вертелах, четвертую я распластал пожаром и посыпал солью—на Чикое именно так я всегда ел хариусов. Вкус изумительный! Съев одну сырую, чуть подсолненную рыбу, весь день чувствуешь себя сытым. Теперь, не торопясь, я стал смаковать форель. Нет, вкус не тот: отзывает илом, мясо грубоватое, как у ленка. Но удивила икра: светлая, как янтарь, и крупная, как икра кеты. Саня набрал ее целую чашку.

После чая, пожелав моим провожатым счастливого пути, я взял кинокамеру и пошел вверх по Мельничной. За поворотом лежали еще более громадные льды. Я снял их и стал карабкаться на сопку. Леса лежали только вокруг озера и немного вдоль Мельничной, а дальше волнами поднимались пустые кручи. Над ними кварцито блестит шапка гольца Бурун-Шибертуй, венца Чикоконского нагорья. Оттуда, с его высот, неслась Мельничная, оттуда берут свое начало Чикой, Чикокон, Алтан. Все они с грохотом несутся среди хаоса камней, чахлого ерника и мхов, торопятся одарить талыми снегами Байкал.

От долгого созерцания странных пейзажей начиналось расстройство чувств. Я перестал узнавать Землю. Как и на перевале, об иной планете подумалось. Марс это? Все перекопано, изрыто канавами. Увиделось вдруг, что и озеро Шэбэты—искусственное сооружение. Тупым углом гольцы сходились, и там был распадок. Он круто сбегал к Мельничной. Ручей журчал в распадке. Но вот чьи-то сверхмощные руки стали рыть под гольцом яму. Глыбы камня бросали грядками—получилась дамба. Талые снега, дожди, вода ручья заполнила ямину, налилась под самую дамбу. Прекрасно видна глубокая кладка дамбы—там и сям камни оголены.

Потом те же руки накидали в яму рыбы. Чьи руки? Не руки, а тысячетонные льдины, падая с крутой и высокой спины гольца, выдолбили в распадке ямину — кару, а камни сгрудили в ригель, преградивший путь воде. Но буряты, основатели Семиозерья — дивной страны Долон-Нур, считали, что это — дело бога.

Но не буряты зашли сюда первыми, а шустрые россияне — землепроходцы. Потом хитростью через шаманов и лам загнали сюда бурят, чтобы те обживали дикое место, отпугивали от золотоносных горных земель монголов и вездесущих китайцев. Причина эта была скрыта — сами буряты считали, что они идут с одной целью: создать «чистую страну», земной рай, дэважэн-шангад.

Среди гольцов, грохота воды, цветения альпийских трав и льда мне тоже захотелось почувствовать себя верующим. Я спустился вниз, сочиняя молитвы, прося бога о ниспослании блага. И «благо» это явилось в двух ликах — Моксора и Саньки. Но я уже смирился с мыслью, что, не найдя площадки для вертолета, спущусь в Долон-Нур один, пешком. И уже авансом чувствовал себя героем.

— Вы почему не в пути? — недовольно сказал я.

— Вместе поедем, — ответил Моксор, — чего там!

— Я еще здесь дня три пробуду.

— Два, — возразил Моксор. — Лошадям корму нету.

На следующий день мы извлекли из озера еще тридцать рыб. Среди них была одна «золотая». Это та самая рыбка, которых мы видели в ручье: невзрачная, серая, величиной с авторучку. Ячея в сети крупная, но рыбка набрала капроновой паутины в рот и завязла. Вероятно, одна из тысячи таких рыбешек, которые заходили в залив. Ночью рыбы шли сюда нереститься. Крупные рыбы истекали икрой и молоками. Серая малышка тоже оказалась с икрой. После в траве залива мы поймали руками еще несколько таких рыбок: все они были с икрой или молоками. Значит, это не мальки кишели в ручье, а особая порода рыбы.

Удивлял размер икринок: они были такие же крупные, как и у радужных рыб. В маточной сумке карлиц умещалось всего двадцать — тридцать икринок.

Мы долго снимали тех радужных рыб фотоаппаратом и кинокамерой и сделали еще несколько маленьких

открытий. Опущенная в воду рыба кажется не черной, не радужной, а синей: будто бросили в воду длинный кусок ультрамарина, и вот он источает сияние. Солнечный свет разрушает окраску рыб: долго полежав на солнце, рыбы из радужных и черных становились белыми. В сети все мертвые рыбы тоже были бесцветными, белыми. И еще мы заметили, что на озере живет пара пугливых уток. Они держались от нас так далеко, что даже в бинокль не удалось установить, какой они породы. Еще мы нашли под ригелем остатки старого шалаша и большой сгнивший погреб. Недалеко лежал ворох трухи, в котором можно было различить очертания клепок и деревянных обручей для бочек: востропятый и находчивый землепроходец пытался на зиму обеспечить артель форелью, но потерпел крах, не ведая того, что только раз в году поднимается форель Шэбэт на поверхность. Нашелся и плот, тоже сгнивший. Второй плот был срублен уже нашим современником, мы его столкнули на воду — плот еще был хорош, и Саня не преминул покататься на нем.

В это время над гулками гольцами загрохотал авиационный двигатель. Серый «Антон» шел прямо на озеро. Я сразу узнал его: это был самолет авиационной охраны лесов. Самолет закачал крыльями: он передавал привет от Юрия Склера и его вертолета. «Все в порядке, мы помним!» — сказал «Антон».

— Как же это ты не знал о рыбе? — спросил я Моксора, когда самолет скрылся.

— Не знал вот, — сказал Моксор, — никто из бурят не знал!

Первые восторги фауной Шэбэт прошли, и не форель, а нечто более знакомое, прозаичное стало видаться в рыбе. Какая это рыба и откуда?

— Хадаран это, — сказал Саня, — хариус.

Мне теперь тоже показалось, что это хариус. Но более расписной и более мясистый, толстый. Но как эта рыба попала сюда? Водопад, потом полуподземный ручей преграждают путь к озеру речной рыбе. Редкие здесь утки занесли икринки в кару, залитую ледниковой водой?

Мы еще раз пошли любоваться водопадом и со всех сторон отсняли его на пленку. Копыта изюбрей выбили в скалах над водопадом густую сеть троп. Любуются

звери Мельничной, что ли? Но Моксор показал камень — отстой зверей.

Каменный пьедестал торчал прямо над водопадом. Гонимые волками изюбри спасаются здесь от их клыков, учат здесь молодых изюбрят защите. А ниже, за ригелем, в углу между Глубокой и Мельничной, изюбри устроили себе курорт: целебную грязь выперло из земли. Горелым порохом пахла грязь.

— Грязь по-нашему «шэбэтуй», — сказал Моксор. — Оттого и озеро зовется Шэбэты: грязь, значит.

Прозаичное название, весьма! Но тогда на географической карте можно усмотреть грубую ошибку. «Бурун-Шибертуй», — написано на карте там, где изображен самый высочайший голец. «Барун-Шэбэтуй» — так это звучит. Правая Грязь.

— Это так, — сказал Моксор. — У нас есть место «Левая Грязь», Зун-Шэбэтуй, а здесь — «Правая Грязь».

Назавтра мы совершили еще один кинофотопоход, последний. На утро был намечен отъезд — кони все выщипали вокруг шалаша, мы уже делились с ними своим хлебом. Настроение у нас было отличное, но, спускаясь с ригеля, мы заметили, что все трое страдаем галлюцинацией: почудилось, будто не три, а шесть лошадей бродят вокруг нашего табора. Причем одна из них — белая. Моксор навел на табор бинокль и сказал:

— Это люди приехали. Вот бородатый Новиков — лесничий — трубку курит, а Мишка-охотник кашу ложкой мешает в манерке.

— Как же мы не видели их на тропе?

— Они с другой стороны зашли, с Чикокона, от Харцаги, — сказал Моксор.

Мы вышли к табору, и Новиков, топорща рыжую бороду, встретил нас руганью:

— Морды поганые! Старика им всполошить захотелось. Чикокон-то дорога совсем адская на Шэбэты. Кости болят, коней запалили — так бежали сюда. Три дня бежали!

— А что такое, Николай Ильич?

— Да как это что? Лесник Дашей Жапов говорит мне: Моксорка корреспондента увез в гольцы и там бросил. Одного. Это в гольцах-то, горожанина! Думаю: сдохнет корреспондент, заблудится, околеет.

— Все в сборе! — заметил я, тщетно пытаюсь

сдержать смех.— Только Скляра здесь не хватает с его вертолетом. Но ведь какой-то лесничий, тоже по фамилии Новиков, обещал ждать вертолет в Харцаге с пятого по восьмое июня?

Новиков сделал жест, будто посыпает голову пеплом. Но, в общем, он тоже был рад: он сам давно и страстно мечтал провести денек-другой на Шэбэтах. Лесничего сопровождали два штатных охотника с разрешением на отлов форели. Но рыбы они не увидели: это был последний день, когда озеро демонстрировало свои богатства. Отметав икру, радужные рыбы на 355 дней ушли в подводные катакомбы. Ни одна морщинка не тревожила остекляневшую гладь озера.

Мы выехали в Долон-Нур, когда чуть порозовели снега в гольцах. Над трогами плыл легкий пар. Мы ехали весь день и всю ночь, а после недолгого сна в доме Моксора я не мог подняться: ноги стали как деревянные вилы. Но Саня выглядел после такого пути молодцом: он сбегал на Чикой, наловил хариусов, и мы сравнили их с рыбой Шэбэт. Все сомнения сразу пропали: между хариусом Чикоя и «форелью» чудо-озера было немало сходства. А что касается другой рыбы Шэбэт, то этих сереньких карлиц природа исковеркала до неузнаваемости. Ни в таежных речках, ни в самом Чикое ничего похожего не водится. Даже в книге ихтиолога Сабанеева «Жизнь пресноводных рыб», ихтиолога, который знает всех рыб на свете и который с азартом поэта описывает фауну озер и рек, ничего похожего не нашлось. В Чите с фотоснимками и устным рассказом о дивных местах я зашел к ученым людям.

— Знаем!— в голос сказали двое ученых и ткнули в карту указкой, но совсем не туда, где я побывал.— Вот это озеро. На, читай.

Они раскрыли книжку натуралиста и знатока Забайкалья Евгения Ивановича Павлова, и я стал читать: «Озеро Букукунское и голец Сохондо находятся в Кыринском районе на хребте Борщовочном. Гонец имеет абсолютную высоту 2508 метров.

Гонец Сохондо с озером Букукунским несомненно замечательный памятник неживой природы, значение которого в сочетании с субальпийской и альпийской растительностью гольца, со своеобразной фауной высокогорных районов и совершенно неизученной фауной озе-

ра во много раз увеличивается. Озеро Букукунское ледникового происхождения, занимает оно огромную чашеобразную выемку — цирк, образовавшуюся в результате воздействия древнего ледника.

В этом озере живут ленки, очутившиеся в несвойственной им водной среде. Приспосабливаясь к новым условиям жизни, ленки претерпели значительные изменения и по своим морфолого-анатомическим особенностям заметно отличаются от ленков, живущих в р. Букукун, что представляет большой интерес для науки».

В таких случаях говорят: «Слов не хватает, чтобы...» И у меня не хватило слов, чтобы выразить степень удивления. Двойник озера Шэбэты! Если бы не голец Сохондо, да не река Букукун, да не ленки, то можно было бы и в самом деле подумать, что речь идет о Шэбэтах.

Но Букукун есть Букукун, Чикой есть Чикой. И я подошел к карте ученых людей, нашел голец Бурун-Шибертуй (или Быстринский, как его еще метят на картах) и шариковой авторучкой нарисовал под гольцом озеро Шэбэты, которое тоненькой рукой-ниточкой дотягивается до Мельничной и Чикокона, а через них шлет привет водам Байкала и держит с ним свое родство.

...Так закончилось третье путешествие в затерянную страну Долон-Нур, в древний бурятский кордон и дэважэншангад Награла Жалбаева. Вертолет Склера пришел тогда в Семиозерье точно в назначенный день, мы поднялись за перевал и дали над Шэбэтами «круг почета». Под брюхом зеленого кузнечика плыли каменные волны гольцов, снега и льды, дым кедровых. Плыли «дивные землицы», хождению по которым отдано в общей сложности пять лет. Заканчивалось третье путешествие, но не последнее. Сквозь грохот и вой двигателя вертолета чудились прощальные слова Моксора:

— Еще приезжай к нам! Ты не побывал на Ламских камнях, на горячих ключах, а озеро я еще одно знаю. Тоже шибко чудное озеро! Острова там плавают, будто лодки и гольцы глядят в воду. Приезжай обязательно!

В аэропорту я протянул Склери ракетницу, которая так и не пригодилась. Но ракеты мы расстреляли, когда над сопкой Хурэй возле дома Доржиевых праздновали с Моксором свое возвращение с Шэбэт.

# Содержание

Предисловие Евг. Куренного . . . . .	3
Перевалить Кодар . . . . .	7
Варакушка-соловей . . . . .	23
Закон предков . . . . .	38
Царь Васишка . . . . .	50
Глухарь . . . . .	67
Арей-озеро . . . . .	77
Барыня . . . . .	91
Женьшень деда Чайковского . . . . .	102
Солонец . . . . .	116
Трое на ледовой дороге . . . . .	124
Горький дым . . . . .	139
Нгелум людей рода Булятыр . . . . .	151
Быстрые струи Токко . . . . .	157
Понедельник-Вторник . . . . .	167
Охота на умника . . . . .	176
Захарка . . . . .	184
Рыба-радуга . . . . .	191

**Яньков Николай Дмитриевич**

## **ЗАКОН ПРЕДКОВ** **Рассказы**

**Редактор Л. Кулешова**

**Художник Б. Агеев**

**Художественный редактор Н. Егоров**

**Технический редактор Л. Дунаева**

**Корректор Н. Попикова**

ИБ № 1411. Сдано в набор 15.03.79. Подписано к печати 18.07.79.  
А10552. Формат 84×108/32. Бумага тип. № 3. Гарнитура литерат.  
Печать высокая. Усл. печ. л. 10,92. Уч.-изд. л. 11,06. Тираж  
75 000 экз. Заказ 123. Цена 1 руб.

Издательство «Современник» Государственного комитета  
РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли  
и Союза писателей РСФСР  
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного  
комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной  
торговли, г. Электросталь Московской области,  
ул. им. Тевосяна, 25.